Анна Сафонова



Прекрасные нечестивцы

РАССКАЗЫ

Южно-Сахалинск
2013

ББК 84(Рос=Рус) 6
С 21

Художник Ирина Левитес

Сафонова, А.А.
Прекрасные нечестивцы: [рассказы]. — Южно-Сахалинск: Лукоморье, 2013. — 184 с.

«Прекрасные нечестивцы» — дебютная книга рассказов Анны Сафоновой, автора пяти поэтических сборников. Безусловно, это проза поэта. Сюжет здесь зачастую неважен, но — слово за словом — на страницах возникает образ свободолюбивых 90-х и стремительных «нулевых». Однако в центре — жизнь человеческая. Беззащитная, как тонкая паутина, — не оборви...

ISBN 978-5-89290-251-1

© А.А. Сафонова, 2013
© ГУП «Сахалинская областная типография», 2013



Пешком по воде

О пользе просторечия

— Ну и чем же обязан русский язык Крылову? — аккуратно просверливает во мне дырочку Дия Александровна.

Ёрзаю на стуле, словами сыплю, но не проходит — Дие нужна цитата, от А до Я. «Да чтоб тебя!..» — голова трещит. Температура спала, а толку — взмокла вся. Утираюсь.

Дия тоже простужена. Вежливо прикрывает нос и рот платочком.

— Ну? — смотрит на меня, недоумевая.

Судорожно перерываю подвал памяти.

Надо ж было заболеть! Причём наповал. И не когда-нибудь, а в день «Ч», когда моя группа сдавала «Историю русского литературного языка». Теперь проблем не оберёшься. Упрашивай, вставай в очередь, слушай внимательно, кто ты и что ты есть на самом деле. Дия прямая, как рельса. Или как шпала. Как весь железнодорожный путь. От неё не утаишься: маленькие цепкие глазки выхватывают всё, что нуж-

но, и сколько не верещи про обстоятельства и исключительность, цену она тебе знает.

У Дии нельзя опаздывать, разговаривать, обмениваться записками, чихать и кашлять тоже, между прочим, нельзя. Иначе за дверь. С очень оскорблённым достоинством.

По-настоящему Дия — Абдурахмановна. Ей чуть-чуть за шестьдесят, но она старается — рисует губы, прибирает седину в высокую причёску. Улыбается, шутит. Её грассирующее «р» скачет по аудитории, вырывается в коридор и скатывается по ступенькам. Звенит на кафедре и замолкает на улице с последними поклонами. Дия в хорошем настроении: подколет, уест, расставит все точки над «i». Отряд, смирно! Равнение на середину!.. Дия проплыла с достоинством крейсера. Вольно!

Про неё каких только легенд не сочинили. Будто молоденькой муж её в Болгарию возил, на Солнечный берег, угощал «Плиской» и свежими фруктами. Всегда самое лучшее: обувь, тряпки, украшения, общество, разговоры. Театры, альбомы с репродукциями, журналы, книги. На всякий случай самиздат. Но не вслух. Вслух зачем? Глупцов не любила. «Вы, — говорит, — батенька, невыразимая б... в искусстве!» — похлопывая по плечу съёжившегося в ногах режиссёра. Будто орден прицепила. За заслуги перед отечеством. Весело, шумно, под звон хрусталя и перемену блюд.

Пока Дия трепала театральное сообщество, муж с придыханием застёгивал ей новенькие босоножки. Ничего особенного. Интеллектуальная слабость.

Потом муж умер. Не сказавшись, взял и умер. Погоревала и снова за своё. Взмахнёт левым рукавом, по уху смажет, взмахнёт правым, по носу — щёлк. Забавлялась. Дия жизнь по-своему понимала, мертвечину за версту чуяла и не терпела. Время шло, радости рассеялись. Блеск потускнел, лоск утратился. Не заботясь о параде, отворяла Дия дверь приблудившейся соседке. Той, что в катастрофе на материке всю родню потеряла. Скромно в кухоньке присаживались, откупоривали бутылочку, за разговором до ночи и дотягивали. А то бывало и до утра. Веки смыкаются, в сон клонит, а Дия на лекцию собирается. До чего ж надоели, тунеядцы!

Про Пушкина всегда трезвая рассказывала, уважала Александра Сергеевича очень. Про Ломоносова тоже, а вот Карамзину, поставив в заслугу изобретение буквы «Ё», в трезвости отказывала. Стилистику разобрала на алгоритмы и схемы. Нейтральные, устаревшие, разговорные, неологизмы, поэтизмы... Слова демонстрировали лексическую окраску, дефилируя перед нашим носом. И уже от зубов отскакивало: просторечное, специальное, профессионализм... Тра-та-та-та-та, как из пулемёта. Отстрелялся, молодец, получай зачёт. А ты чего замешкалась, голубушка? Тык-мык... Вон, доучивать!

Дию поджидали на перекуре. Завидев её пошатывающуюся фигуру, мчались в аудиторию, хватали манатки и сваливали. Дия в ноль. Не поздоровится. Ни Карамзину, ни галёрке. Утро стрелецкой казни лучше уж прогулять.

Я её тоже сначала побаивалась. Как зарядили с первого курса — «ужас, ужас!», поневоле поверишь. Народ рыдал, забирая документы, летели в тартарары и жизнь и карьера, а ей хоть бы хны. На пятом курсе гроза филфака, наконец, предстала во всей красе, и я успокоилась — Фрёкен Бок. Собственной персоной. Чуть визгливая, правда. В душе я ей улыбалась.

Как-то она меня в дверях придержала: «Я читала вашу заметку в "Советском Сахалине". Очень хорошо». Вот тебе на! Я растерялась. Стоит, кивает: «Я давно за вами слежу». «Спасибо...» — пожала плечами и вышла.

Жанка, староста, прибежала в тот же день, как экзамен провалила. Румяная, колючая с мороза.

— Чего не сдала-то? — недоумеваю.

— Билет дурной попался, тринадцатый. Первый вопрос про формирование «высокого штиля», второй про Крылова. Она ж про него не читала ни фига, только на консультации заикнулась.

— Ясно...

— Ты давай выздоравливай, с «бэшками» сдавать пойдём! — не унывает Жанка.

— Думаешь, пустит?

— Ещё б не пустила! Я про тебя заикнулась, только рукой махнула: сдаст, говорит, твоя, не волнуйся.

Лежу, листаю тетрадку. Буквы знакомые проглядываю...

— Ну так и чем обязан русский язык Крылову? — закипает Дия Абдурахмановна.

Убей Бог, если это совпадение — вытянуть Жанкин билет. Про «высокий штиль» оттарабанила без запинки. С Крыловым, чую, завал... Плакали мои каникулы...

— Показываю! — терпение лопнуло. Дия подскакивает и толкает рукой дверь. Та выстреливает в коридор, а вместе с ней и я автоматом выпаливаю:

— Широко открыл дверь просторечию!..

Делов-то куча...

Аспиранткой я редко заглядывала на кафедру русского, в основном по праздникам. У меня нагрузка, газета не подписана, литература не дочитана. Путаюсь между зарубежкой и русской, в веках и пространствах. Утром про шванки, вечером про Метерлинка, от Робинзона к Пятнице перебираюсь.

— Садись, чайку попьём, — подмигивает Дия Абдурахмановна.

Сажусь. Она живо чашку достала, водочки плеснула.

— Праздник у нас или как?

— Праздник! — соглашаюсь. И осушаю чай. Весь до донышка.

— Молодец!

— Стараюсь.

Солнце скатилось за сопки, позолотив напоследок изрезанный край. Домой хочу. Вместо дома затянули мы с Дией песню на два голоса. Протяжную и скрипучую. Как снег за окном.

Последний раз её видела, когда она по стеночке ползком ползла. Сильно нагрузилась. Растрёпанная. А тут как назло гости высокие. Дия между ними, как под-



битый «Варяг», курс прокладывала. Все так и ахнули. Скандал! Ну тут её под ручки и в кабинет директора.

— Не пойду. У меня лекция! — упёрлись на крейсере.

— Кто вас до занятий в таком виде допустит! — ну и так далее. Кое-как домой отправили.

Студенты обрадовались — ужас накрылся медным тазом. Теперь Дию точно с работы попрут. На кафедре головняк отпадёт. Опять же — часы...

Дия сама ушла. Я тогда уже в другом месте трудилась. Забежала по старой памяти, а мне новость: Дия умерла.

На «Скорой» без сознания доставили её в больницу. Соседка по палате вроде как из знакомых оказалась.

— Ой, — говорит, — це ж наша!

— Что у неё? — всерьёз поинтересовались специалисты.

— Да цирроз, она ж хлещет, как мельница!

Поставили капельницу. В себя не приходит. Додумались обследование назначить. Там и выяснилось, что не цирроз никакой, а прободение. Бегом на стол, оперировать. Да только Дия до стола не дотянула. «Ну вас совсем!»

Памятник ей справили. Сухостой каждый год драть езжу. Колючий, а перчатки забываю. Все руки в занозах.

Еле нашла сначала. Всё оббегала: «Да покажись ты!» Потом осенило: за пропажу святого Трифона просить надо, чтоб пособил. И как солнцем озарило — вот он, столбик, стоит, сияет прям перед глазами. «Слава Богу...»

Зачем езжу, не знаю.

Тянет...

Люблю (фламенко по-русски)



Всё когда-то было впервые: танцы, сцена, любовь, влюблённость, русские булочки с французским названием «круассаны», зарубежные поездки, сложный выбор между двумя и третьим. Было всё.

Я хотела стать балериной. Училась. Не семь, а сотни потов сошли прежде, чем я вышла на сцену. Партия была во втором составе, платье мало (пришлось менять за несколько дней до выступления), температура дикая, цветок из ленты всё время отваливался, хотя за кулисами он прочно держался на кнопках. На сцене он не хотел держаться ни в какую. Бог с тобой, золотая рыбка, упадёшь, так упадёшь. Бывали случаи, когда балерины теряли пуанты — летят они майскими бабочками в первые ряды (так что в следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем брать билеты в партер). Впрочем, всё это мелочи, недостойные зрительского внимания. Мы танцуем, я танцую! Танец — «Свирель и рожок».

С названием, ясное дело, долго не мучались. Зачем? В стране советов всё просто и понятно. Если танцуют дети, значит, и название должно быть соответствующим — никаких «па» вне контекста.

Либретто: пастушка и пастух встречаются на поляне и вместо того, чтобы целоваться или исполнять свой пастушеский долг, начинают наигрывать невинные мелодии. Веселятся, пляшут, да так заразительно, что на полянку стекаются все окрестные цветы, грибы, ягоды и прочие дикоросы, чтобы устроить танцевальный нон-стоп и показать-таки друг другу, где живёт кузькина мать. Восьмидесятые годы.

Я даже не знаю, для кого мы тогда танцевали. Это было время отчётных концертов и демонстраций. Так вот. Нами отчитывались тётеньки-преподаватели, а мы наслаждались демонстрацией собственных талантов. Ведь неталантливых не было. Был первый и второй состав. Были старшие и младшие. Были дети работников музыкального училища и были другие. В череде этих классификаций отмечу свой социальный статус: талантливая, младшая, ребёнок работника, однако за отвлечённость представлений об искусстве — второй состав. Есть что-то оруэлловское в решении проблемы нашего равенства, но ведь это — впервые.

Я не стала балериной, не смогла удержаться даже в разряде бальников. Так и осталась любителем. До профессионала не доросла — ногами не вышла. Всё-таки странно это — природа чуть-чуть приплюснула тебе ноги, и на тебе сразу ставят штамп — «НЕ ГОДЕН». А всё потому, что когда-то наши праотцы и

праматери вели очень неразборчивый образ жизни. То орда три века житья не давала, то война какая случалась, и пошло: глаза карие, чаще раскосые, волосы смоляные, ноги колесом, скулы разносит так, что уже не можешь отличить их от победоносно распрямившихся плеч, ну, и прочие казусы генетики. Одно радует — хорошо не дебил какой получился. Азиоевропеец. Квазиевропеец. Ниэтонитоец.

Соединение различных, противоречащих друг другу культур грозит человеку либо гениальностью, либо отсталостью в развитии. Так и не разобравшись, кто ты есть на самом деле, можно с лёгкостью пасть на дно этнологической пропасти, которая при случае обязательно окажется и бездной, если, конечно, понимать разницу. Многие понимают. Я — стараюсь понимать. Год 2002.

Дело не в том, как выйти из ситуации национальной обречённости, а в том, как научиться её не замечать. Перестать выпячивать грудь при звучании слова «РУССКИЙ», например, проект. Ничего хорошего вам это не сулит, а вот ударить по карману или ниже пояса вполне может.

Я до сих пор завидую тем, кто уже успел из советского человека стать русским. Советская нация была конформной и политкорректной, но этот многослойный бутерброд, однако, редко защищал от некоторых национальных «особенностей» малых коренных народов (блестящее сочетание, смысл его не прочитывается даже в парламентских трущобах): от вони, например, и клопов где-нибудь в глиняных



«отелях» нынешнего Кыргызстана или же от обморожения в Эвенкии или на Чукотке.

Сцену я себе всё-таки отвоевала. Танцую словами до седьмого, помноженного на троих, пота. Каждый день — до сотни людей. И здесь уже не спрашиваешь, хочешь ты их или они тебя, а быстренько собираешься и начинаешь влюбляться. То в милые бараньи физиономии, то в растрёпанные, но пока ещё светлые головы. Между делом меняешь имидж, чтобы не успели забыть до следующей встречи. Опять же решаешь оруэлловские вопросы между вторым и третьим этажами университета. Вечером-ночером одной рукой обнимаешь подушку, ставшую ледяной в твоё отсутствие, другой — любимую книгу, ожидающую своего звёздного часа. Утром всё по графику — наука, как всегда, требующая жертв (не путайте с красотой, будете наказаны и поставлены в угол), «первый» и «второй» состав, «пуанты», летящие в радиусе одного километра и попадающие обязательно в твой лоб (не покупайте билетов в партер!), платье, трещащее по швам, жизнь, летящая в тартарары при каждом удобном случае. Когда любить? Кого любить? Да так, чтобы всё было впервые...

А где-то, в монгольских пустынях, сидит пресытившийся любовью и жизнью человек, дует себе водку да завывает в тон ветру древние ордынские песни. Лепота!

Восьмое марта

Снежку подвалило, будь здоров! Коллеги мои — два парня и две девчонки — толпились у дверей, стряхивая и обметая снег. Галдели, шумели, как воробьи под стрехой.

У нас если уж наметёт, то по самую шапку. По сугробам ползёшь, что по океану проплываешь. Дорог нет, автобусов нет, ветер забивает снег за шиворот — бр-р-р!

А всё равно на душе хорошо — праздник! Сейчас соберут всех в зале, раздадут конфеты, угостят шампанским, концерт покажут, и — свобода! Ребята уже двигали столы, стулья, погромыхивали кастрюльками, где, как я полагаю, будет завариваться картошка, подсчитывали количество ложек и вилок, которых, как всегда, не хватало... Огорчало одно — вместо зарплаты выдали премию — 1000 несчастных рубликов. Молча сбросились и взялись за копилку. Целый год аккуратно собирали мелочь за «доп. услуги» — копирование, сканирование, дописывание, переписывание, набирание, отвечание и прочую ерунду.

Вытряхнули копилку — ба, да мы богачи! Сколько серебра и меди, мать честна! Довольные!



— Будем сдавать деньги в кассу килограммами, — подвела итог неунывающая Нинка. А что ж унывать, когда ей скоро замуж за американца идти?

Итак — идём сдавать деньги в кассу килограммами.

В магазине все притихли, когда, расплачиваясь, вывалили на прилавок два мешка монет и скромные пять зелёных купюр достоинством в 1000 рэ.

— Вот! — весело улыбнулись остолбеневшей продавщице. — Пересчитывать будете?

Пока окружающие отходили от шока, мы подхватили сумки и на выход. Прыг-скок по сугробищам. Яко кенги австралийские! Прыг-скок, хохоча и причитая.

В общем, дело известное — собрались, открыли-налили-выпили, отдышались, про закуску стали думать. Тут уж опять — звень-склень-похлебень... Только к третьей рюмке и сообразили стол накрыть. После третьей бутылки обычно мы с Гришей, что методику у филологов ведёт, заводили Цоевско-Земфировскую «Кукушку» и изображали шаманские танцы — не то нивхские, не то карельские. В общем, что-то северное и свирепое. Народ с нас валялся! Мы и притопывали, и прихлопывали, и крыльями били, круги расписывали, клювами тюкались, снежных птиц отгоняли, солнце кликали.

После нашего шаманства народ странным образом трезвел, и приходилось всё начинать заново. Доставался ещё мешок денег... И так по кругу, пока силы были.

Когда же всё кончилось — и деньги, и закуска, и азарт, и времени уже час ночи, — решено было расползаться по домам.

Мне до дома — пятнадцать минут вразвалочку. Но тут — март бушующий, тьма египетская... Выползла на

пробитую тропку, думаю — не дойду. А сама иду. Иду, так-перетак! Потому что если не идти, то уснуть можно.

Я уже доплелась до перекрестка, миновав улицу Ленина, вывернула на Пограничную, а там уж и до проспекта Мира рукой подать... А про себя думаю: «Господи, ну донёс бы хоть кто-нибудь, что ли?» И вдруг чувствую — плыву, аки луна в ночи. Что не иду, это ясно понимаю, но что в действительности происходит, сообразить не могу.

— Тебе далеко? — мужской голос спрашивает.

— Да нет, вот моя деревня, — машу рукой в сторону частных домов, из которых мой — последний.

— Так может, передохнём? — меня плавно поставили на ноги, обтряхнули. Высокий большущий парень в форме МЧС.

— Ты Дед Мороз, что ли?

— Меня Игорем зовут, — вдруг застеснялся он.

— А-а! — протянула я, соображая, что дальше-то делать? — Ты зачем меня на руках тащил, я ведь и сама могла... Надорвёшься еще.

— Не, я сильный, — воспрял. — Ты ж сама просила — донёс бы кто.

— Так ты сзади шёл, — кое-что прояснялось. — Подслушивал, значит.

— Слух у меня музыкальный.

— А чего в форме, раз слух музыкальный? — подначивать стала.

— С детства в солдатики любил играть, — улыбнулся.

— Понятно, — говорю. — Значит, так, солдатик, мне — направо, тебе — налево. Усёк? Всё — разбежались.

— Нет, так не пойдёт.

— А чё надоть?



— Сейчас шампанское пить будем! — радостно так заявил.

— Здесь?

— Здесь! Ты постой, только не уходи. Я мигом.

— Давай-давай, осторожно, — и стою жду. Жду стою, говорю, и никуда не двигаюсь. С места сойти не могу. А на душе весело так.

Игорь быстро обернулся. Бежит, отдувается, пар от него в разные стороны.

— Привет! — выдохнул разгорячённо.

— Ну, привет, коли не шутишь! — подаю ему руку. — Аля!

— Аля, значит! Вот мы сейчас, ка-ак бабахнем эту «Абрау Дюрсо», Аля!

И засмеялись оба. Игорь извинялся за пластиковые стаканчики, за неудобства всякие. И наливал, и бутылку в снег ставил — чтоб не закипело. И тосты кружевные произносил, и конфетами дорогущими с мандаринами потчевал. Шутки вышучивал, коленца выкидывал. Хохотали, а времечко-то летит. Уж и два, и три часа миновало. А народу полно вокруг — даром что ночь! Снежок искрится, сверху сыплет, морозец чуть щиплется, и хорошо как, Господи! И ещё бутылку выпили. Мне и в голову не пришло сказать — стоп, хватит. Будь что будет, — рукой махнула.

Игорёк опять отлучился к киоску. Вернулся — с корзиной цветов и плюшевым мишкой:

— С праздником!

Дальше я уже ничего не помню. Игорь принёс меня домой и ушёл. С тех пор я МЧС ещё пуще доверяю.

Лилипуты



Улицы почернели. Таков порядок: сначала синеют, потом — рыжеют, к концу марта разливаются чёрные реки. Тают нахоженные за долгие месяцы тропы, снежные бабы и ледяные пещеры. Тает недавно начавшийся новый год. Кап! Поздняя сосулька — и прямо за шиворот. Обувь расклеивается — и зимняя, и весенняя, и осенняя... У кого какая. Медики перевыполняют план по острым респираторным и травматизму. Это ничего. Дело привычки. Лишь бы весна наступила!

— Апчхи-и-и! — на кафедру вкатился колобок из болоньи и лыжного силикона, с распухшим носом, слезящимися глазами и обветренными губами.

— Будьте здоровы! — желаю от всей души.

— Ой, спасиб! Извините, разболелся, сессию продлили... — обычный студенческий трёп. Ничего. Нормально. Сами в студентах ходили. Аспиранты, как известно, довольно быстро размежёвываются на тех, кто сочувствует, и тех, кто игнорирует обстоятельства че-

ловеческого существования. Я в нейтральных. Ещё не совсем забыла, но уже требую.

— Так, и чем же хотите порадовать?

— Я, это, ну, тут у меня литература... — достаёт платок и начинает громко высмаркиваться.

— Какая?

— Мировая, художественная, — подает «бегунок». — До двадцатого сдать...

— Знаете что-нибудь? Только честно! — напускаю строгости для убедительности.

— Не уверен, — помертвевшим голосом. — Эпитеты, гиперболы, темы, идеи... Не литература, а, прям, ботаника какая-то — пестики, тычинки...

— Ну, хорошо. Слова всякие литературоведческие знаете, уже неплохо. Читали что? — только б не рассмеяться.

— «Робинзона Крузу», «Монахиню», Свифта про Гулливера. Великан такой, у него ещё лилипуты между ног болтались...

Всё! Больше не могу, смеюсь.

Парень выпутал из меховых рукавиц красные клешни рук и стал ими похрустывать.

— Слушай, ты чем занимаешься-то вообще? — резко сократила дистанцию.

— Компьютерами, — смотрит с недоверием. — Сайты, сети, электронная почта. Да ерундой всякой. Хотел программы, да времени нет. На мелочь подвязываюсь.

— Что ж тебя на филфак угораздило?

— Какая разница, куда? Думал, по-лёгкому, про любовь проходят, а тут по-тяжёлой — классицизм, романтизм, анализ творчества. На медицине проще.

— Так уж и проще?

— Понятней...

Чернеет снег за окнами. Сильно почернел. Хорошо же день начинается. Ещё парочка претензий, и можно будет закрывать специальность.

— Мне, Серёж, — вздыхаю, — за анализы деньги платят. И литература вовсе не то, что ты про неё понимаешь.

— И чё делать?

— Экзамен сдавать. Бери стул, садись. Расскажи мне ещё про лилипутов и ступай с Богом.

Главный корпус за зиму промёрз, тепла совсем не держит. Профессора и старпреды приходят по расписанию и быстренько убегают домой. На переменах согреваются горячим чаем. Лаборанты жмутся по углам у компьютеров, аспиранты зубрят английский — скоро кандидатский. Я узнавала — дело плёвое.

Серёжа укатился. На окне несколько веточек вербы на солнышке светится. На улице девчонки хохочут, ребятня из школы высыпала, мутузит друг друга, разминается.

— Ты чего сидишь в холодине такой? — Людмила Васильевна, кутаясь в платок, заглянула на кафедру.

— Задолжники, — улыбаюсь. Про задолжников все понимают.

— А у меня заочники. Сегодня выдали, матушки мои! «Шекспир — великое достояние итальянского барокко». Ну, представь!? — придвинула к себе кипу рефератов и, вздохнув, присела за стол. Лекции, семинары. Шекспир, Сартр, Песнь песней... Библиотека в голове, цитаты с места. Дочь, внуки. Краны текут... Не унывает.

— Чайку, Людмила Васильевна?

— Сейчас поставлю.



Прыгаю!

Ну кто будет отрицать, что по деревьям я лазаю лучше мальчишек? Во втором-то классе! По канатам — хуже. Но канат — не дерево. Он гладкий, скользкий и руки об него обжигаешь, пуще чем о крапиву. Поднялся по канату — пятёрка. Залез на дерево — ух ты!

Природоведение я не люблю. Не потому что глупая. А потому что теория никак не сходится с практикой. Нас учат ориентироваться на местности. Ну вы знаете: мхи и лишайники буйно расцветают лишь с южной стороны валунов. С северной стороны стволы деревьев темней, кора быстрее разрушается от сырости. И тому подобное. Перечислять нет смысла. Особенно если в сумке валяется новенький, купленный дедом компас — это раз. Если идёшь, не сворачивая, обязательно вернёшься туда, откуда ушёл — это два. И наконец, если не планируешь потеряться, тупо бредя среди одноклассников, тебе и вправду ничего не грозит — это три.

— Итак, что мы должны делать в первую очередь, если заблудились в лесу? — обернувшись к нам, вопрошает Валентина Ивановна. Улыбается. Уже готова радостно промяукать: «Правильно, дети!..»

— Залезть на дерево! — весело выкрикиваю я вызубренный намертво закон тайги. Улыбка сползает с чуть подвяленного солнцем лица Валентины Ивановны, руки застывают в воздухе, так и не закончив дирижёрского взмаха.

— Зачем тебе на дерево, скажи на милость?

— Чтобы лучше видеть! — удивляюсь нелепости вопроса.

В два счёта забираюсь на ближайшую берёзу. Кое-как зацепившись за хрупкие ветки, яростно жестикулирую:

— Вон город! Вон «Орбита». Вон там — Лыска. Прямо — ТЭЦ.

— Ника, слезай немедленно! — визжит Валентина Ивановна. Красные пятна расползаются по лицу и шее. — Ника, я кому сказала!

«Ладно, ладно! — бурчу про себя, сползая вниз. — Только без истерик!» Внезапно ветки заканчиваются. Бум!.. «Бум!» у меня получается лучше всего.

На Лыску в сентябре ходить одно удовольствие. На подступах полно оврагов, кое-где выглядывают остовы укрепрайонов. Овраги немедленно превращаются в окопы вражеской обороны, укрепрайоны штурмуются под крики «Ура!», и вместо гранаты в лицо Саньки Воронова, японского шпиона, летит высохший кусок глины. «Ма-ма!» — кричит японский шпион и, заливаясь слезами, сдаёт амбразуру.

Уже через десять минут партизанский отряд превращается в советский десант. Четыре обезьянки раскачиваются на ветках... Это мы. Прячемся в стане врага. Идёт разведывательная операция, в самый разгар которой Васька Макаров не выдерживает и орёт во все горло:

— Пацаны, у Ники трусы видно! Ха-ха-ха!

— Дурак! — досадую я. — Провалил операцию.

Пытаюсь спуститься, но наступаю ногой на Васькин кумпол.

— Э! Совсем офигевшая!? — мечет Васька громы и молнии.

— Получи фашист гранату: за трусы — двойную плату! Нефиг подглядывать! — выпаливаю скороговоркой, продолжая топтаться по Васькиному темечку. В отместку он намертво перегородил спуск. «Ах так!» Включаю полный вперёд и расцепляю пальцы. С ветки на ветку, как Винни Пух, делаю бесконечные «бум!». Форма в лоскуты, руки-ноги исполосованы летящими навстречу сучками и зазубринами. И долгожданное приземление — аккурат в серёдку репейника. Конец разведке — бабушка приехала!

Выбрав колючки из платья, достала платок и принялась зализывать нанесённые противником раны. А Васька опять орёт как резаный:

— Валентина Ивановна! Петрова с дерева спрыгнула! Она бе-ше-на-я-а!

И тишина. Только дерево поскрипывает. Да листва шумит. Из-за пригорка показалась побелевшая Валентина Ивановна. Ребята облепили со всех сторон — голова к голове, как горошины.

— Петрова! — тяжело дыша, выносит вердикт Валентина Ивановна. — Категорически! Больше... ни в какие походы... не допускается!

...Прыгать мне понравилось. Отовсюду: с парапета, с танка, что на Победе (ну не совсем с танка, с постамента. С нижнего яруса...), с боярки, когда ещё сосед грозился собакой, если мы немедленно не слезем. Драгоценные ягоды падали в траву. А я в очередной раз приземлялась в крапиву. Боярка на самом деле наша была, а крапива — соседская. Забор развалился, и все запутались.

Прыгала с сарая. Того, что ещё дед поставил. Забраться на него по приваленным к стене доскам — раз плюнуть. А вот спуститься — страшно. Задом наперёд у меня не очень получалось. Проще зажмуриться и сигануть в малину. Наберёшь полный рот переспелой сочной мякоти — м-м-м, благодать!

И с крыши прыгала. Когда деду срочно понадобилась лестница, а Васька (кот бесстыжий!) слинял на соседский гараж! Тут поневоле прыгнешь. Приземлишься в гудрон. Ломоть на бегу оторвешь пожирнее. Потому что жвачки только у Юльки Переломовой. У неё папа — моряк. Очень дальнего плаванья. А гудрон хоть целый день жуй, не раскрошится. Пузыри только не надуваются.

Стройки, гаражи, заборы, трубы и теплотрассы вообще во внимание не принимаются. Разминка для начинающих. Кому слабо, тот в царь-горы не играет. И в казаки-разбойники того не берут. А уж в чапая — подавно. Слабакам в Красной армии не место.

Постепенно смысл моих прыжков приобрел стихийно-протестный оттенок. Нас заперли! Меня, Юльку Ряшенцеву и Илюху Трубачёва. Чтоб на улицу — ни ногой, пока родители в магазин ходят. Игорь мальчик хороший. У него один глаз свой, а второй — искусственный. Он девчонок во дворе на «Школьнике» по очереди катает. Когда у него время есть. Только за это просит с ним в «письки-жопки» играть. И совсем это не интересно. Снял трусы, надел... А Илюха рассматривает всё внимательно, а потом смеётся. Короче, пока они с Юлькой играли, я решила с балкона на козырёк подъездный перебраться. Чуть-чуть не дотянулась. Нога соскользнула, я повисела-повисела и спрыгнула. Внизу палисадник как раз перекопали, только земля всё равно твердая. Не то, что у нас в огороде — мягкая, тёплая...

Не успела оглянуться, как располнела, утратила гибкость и ловкость. Деревья подо мной гнулись и ломались. Пришлось переключиться на железяки — трапеции, кольца, перекладины, канаты — на худой случай. В спортзале совсем туго пришлось. Сергей Саныч дунет в свисток, мол, давай, Петрова, забирайся наверх. А я не могу. Канат не дерево — пружинь, подтягивайся, а он, зараза, так и норовит выскользнуть. Нет, Сергей Саныч, уж лучше двойку. Не с руки мне. Пока однажды резиновый не повесили. Как забралась!

— Достаточно! — кричит физрук, рисуя плюсик в тетрадку. — Следующий!

Следующий — Васька Макаров. Стоит, не шелохнется.

— Ну чего замер? Давай, Василий, полный вперёд! — подбадривает его Сергей Саныч.

— Не, — качает головой Василий, — пока Петрова не слезет, я туда ни ногой!

— Петрова? — удивляется Сергей Саныч, запрокидывая лоснящуюся лысину.

Глаза наши встретились — его, голубые, как первомайское небо, и мои, безупречного чайного цвета.

— Ты чего там делаешь?

— Висю!

— Давай слазь!

«Легко сказать, слазь», — и ещё пуще к этому шлангу вонючему приклеиваюсь. С резины просто так не скатишься. Не скользит.

— Слазь! — рявкает Сергей Саныч.

Судорожно выискиваю место для посадки.

— Кому говорю! — лысина багровеет, урок срывается. — Слазь, так твою перетак!

Всё, разжимаю пальцы...

— Ни-ка-а! — ахает зал.

Потирая ушибленное бедро, молча поднимаюсь с мата и ковыляю в раздевалку... На следующий год меня от физкультуры совсем освободили.

Прыгать — суть и соль жизни, средство самозащиты и противостояния. Конечно, для того чтобы прыгнуть, надо сначала куда-нибудь залезть. А чтобы куда-нибудь залезть, надо во что-нибудь вляпаться или заблудиться. Вот тогда и пригодится школа юного сурка — забраться как можно выше и сориентироваться

на местности. Оглядеться и проложить маршрут сначала во-он до той горочки.

Меня привели на телевидение. Очень уж хотелось походить на отца. Воображение старательно рисовало покорителя чуть ли не Северного полюса. Фотографии дополняли сложившийся образ. Вот он — во весь рост (очень высокий, очень!) среди снегов, ухмыляясь, отщипывает кусочки от свежей буханки. Он же — на судах рыболовного и военного флота. Он же — за огромным редакционным столом уминает фасоль в томате. И снова он — крепко сжимает меня, двухлетнюю... Только смотрим мы в разные стороны. Папа заученно в объектив, а я — в свою ясную даль. Может, показалось, и журналист из меня липовый?.. Вот и тётенька телевизионная того же мнения: «...безусловно, талантлива, но...»

И отправили меня в газету. Посадили за древний стол, дали стопку бумаги и сказали серьёзно: «Пиши!» Только как же «пиши»? За спиной побрякивают кружками и чашками, ставят чайник, проверяют холодильник, сплетничают и хохочут. И только редактор перепечатывает на машинке чью-то сильно потрёпанную рукопись. «Та-та-та-та-та-та...» — без перерыва. Она не курит. Хоть и редактор. А я уже курю. Но стесняюсь. В конце концов решаюсь подойти и уточнить, чего от меня требуется.

— Пиши о чём хочешь. Лишь бы интересно было. Мы тебя по трудовому оформим, как внештатника. И сидеть тут совершенно не обязательно. Журналиста ноги кормят. Осилишь полторы тысячи строк в неделю?

— Конечно, — ни тени сомнения на лице. Потом разберёмся. Потом, потом, потом. Всё потом, а сейчас поскорей на волю. Решила начать с главного: выяснить, какая дорога ведет к храму? Вдруг им значительные вещи нужны. «Про коммуналку любой сможет», — решила я.

Во внештатниках проходила два года. Училась днем на филфаке, а по ночам писала. Мозолищу на пальце набила, будь здоров. Компьютеров ещё и в помине не было.

Потом меня в пресс-службу взяли, как «опытную». Формировать позитивный имидж учебного заведения. Мы его с товарищами в стенгазете формировать начали. Потом в областной печати закрепили. Люди читали, обсуждали, ссылались. Приятно.

После продолжительных переговоров я перепрыгнула из дома родного в свою маленькую квартирку. Тяжело. Но протягивать руку очень не хотелось. В холодильнике мышь повесилась. На душе кошки скребли.

— В партии затевают газетку делать. Редактор нужен. Подыщи кого-нибудь, — попросил один очень важный знакомый.

— Сколько денег?

— Три тысячи.

Для несведущих — рублей, не долларов. «Не густо, — прикидываю про себя, — но мышь накормить хватит».

— Может, я смогу?

Отрекомендованная, еду в автобусе покорять партийное руководство. Денёк ласковый, я же репетирую



партзачёт, чтобы не получить вычет. Солнцу всё равно. Гладит по голове тёплой ладошкой, и я засыпаю.

Просыпаюсь на нужной остановке. Взлетаю на второй этаж: «Здравствуйте!» Мне рады. Принимают, угощают чаем и рисуют перспективы. Ободряют и восхищаются.

— А можно ближе к делу? — не выдерживаю я.

Ближе так ближе. Начинается инструктаж. И тут до меня наконец-то доходит. В штате газеты — одна единица. Зато какая пузатая! Я и жнец, и на дуде игрец. Сама пиши, составляй, всюду ходи, кругом высиживай, прославляй, пропагандируй. Рисуй капитализм с демократическим лицом. Из Москвы непременно материалом помогут. Вырезай, выбирай, озвучивай. Освоишься — пресс-секретарем сделаем, на учебу в ВПШ отправим.

— Спасибо, я уже отучилась.

— Тогда мы тебя в резерв зачислим. Нам молодые перспективные нужны.

— За три тысячи? — язык мой враг мой.

— Это пока три. — Оратор набирает обороты, уста его источают мёд, глаза же внимательно изучают особенности конституции. Моей конституции, а не Российской Федерации. Федерацию не обнимешь, а во мне всего шестьдесят три кг. «Ну и ладно, не подыхать же», — решаюсь я.

У меня чуточная нагрузка в колледже, читаю старшекурсникам историю отечественной литературы XX века. Учусь в аспирантуре. Подменяю то одного, то другого члена кафедры, вычитывая их очные и заочные курсы. Стихийно постигаю азы партийной дисци-

плины, журналистской и социальной этики. Карабкаюсь, цепляюсь, мышь кормлю. Пафоса — ноль, щёки впали, джинса истончилась, просвечивая на солнце.

В разгар мая засылают меня на внеплановый Съезд. В Москву! В бригаде ещё трое. И вид такой же — рабоче-крестьянский, доверчиво-великодушный. «Споёмся!» — подвожу черту и бегу за билетом. Семь лет сижу дома безвылазно. Без отрыва от производства. Хочу на воздух. Как выяснилось, в подмосковный пансионат, неподалёку от Звенигорода. Хочу-у-у!

И мы летим. Читаю Тоболяка и Улицкую. Коллеги мирно дремлют. Устали.

Москва встречает, широко улыбаясь навстречу. Женская часть бригады упакована по первому разряду: туфли, босоножки, кофточки: одна-вторая-третья, на все случаи жизни, гардероб утренний, гардероб вечерний, и ещё — промежуточный — для прогулок и если вдруг ветрено. Сумки оттягивают руки, но посрамить честь и достоинство, ни Боже мой! Берём такси. Нам далеко, аж на проспект Мира.

— Только поживей, пожалуйста, а то мы опаздываем! — предупреждаем водилу.

— Сделаем в лучшем виде! — Захлопывает дверцу, и машина срывается с места. Обдуваемые ветерком, наслаждаемся солнцем и сменяющими друг друга столичными пейзажами. Задрёмываем. Но мгновенно просыпаемся, когда водила протягивает карточку с расценками за км.



— А ну стой! — судорожно соображаю, сколько ж км мы уже накрутили. Да если за каждый по полтиннику!.. — На сколько мы уже накатали?

Не сбавляя скорости, водила снимает показатели, умножает на пропечатанный тариф, получается что-то внушительное.

— Слушай, мы тут на три дня, денег в обрез. За всех — тыщу, не больше...

На наши головы обрушивается поток всевозможных угроз и ругательств, вплоть до того, что нас немедленно возвращают в аэропорт, сдают в милицию (брат или сват там работает), командировка наша заканчивается, до острова нас доставляют в цинковом ящике.

— Тыща за всех, — не сдаюсь я, — или катай до посиненья. Мы давно в Москве не были.

— Полторы, — сдаётся молодчик. — Полторы и высаживаю.

— Идёт. У метро где-нибудь тормозни.

«Жигуль» лавирует в вечернем скоплении машин и притормаживает аккурат у буковки «М». Выходим по одному. Чтобы не сбежали, не расплатившись. Чтобы не рванул с вещичками.

Ну, здравствуй, столица!

Пансионат — пять сталинских железобетонных монстров (столовая, конференц-зал, кинозал, ещё что-то невразумительное) посреди разорённого дворянского гнезда. За деревьями спряталась полуразрушенная часовня, напротив — пруд, по нему барышень на лодках туда-сюда катают. Корпуса для отдыхающих — бывшие летние домики для гостей, архитектура

не менее, чем века восемнадцатого. Нежный жёлтый цвет стен, круглые окна с паутиной перекладин, мансарды и печные трубы. Всё на месте.

Во всю стену конференц-зала растянут баннер с партийными метками. Щёлк! — фото на память.

Итак. Программа: День 1. Пленарное заседание, обед, продолжение заседания. Ужин. Праздничная музыкальная программа. День 2. Возврат денег за проезд, обед, «Весёлые старты». Участники: команда партийцев и команда гостей (желающие принять участие, запишитесь у секретаря). Ужин. Регата. Фейерверк. День 3. Отбытие.

Всё ясно. Дайте уже ключ, пожалуйста, спать очень хочется. От избытка впечатлений располагаюсь на собственной сумке прямо посреди холла. Секретарь куда-то отлучился. Табличка с надписью «Дальний Восток» сиротливо покачивается от снующего сквозняка. Видимо, нас снова мало. Всех не высидишь.

Не помню, как уснула. Зато утром, ещё до завтрака, мы с соседкой успели обежать парк, побродить по росной травке и обследовать все развалины. Выбрались в ближайшее сельцо, пропылив до нарядного храма. Открыт. Ни платка, ни соответствующего наряда... Кто же знал... Посокрушались, но всё-таки вошли. Только что справили утренние часы и службу. Батюшка благословил свой старушечий приход и воззрился на нас.

— Странствуете? Издалёка будете?

— С Сахалина, — проясняем ситуацию. Покупаем свечи, улыбаемся батюшке.

— Далеко.

Батюшке интересно. Спрашивает, отвечаем. Милый человек, не отругал даже за внешнее наше непотребство. Тепло в храме. С восемнадцатого века стоит. Стало быть, и село с той поры к нему прилепилось. Раскланялись. Благословились. Щёлк-щёлк! — фото на память. Утро красит нежным светом... Благодать.

К нашему возвращению завозилось-засуетилось имение N-х. Накануне, как водится, за встречу, за знакомство народ пил-гулял. Теперь потихоньку стекался отрабатывать харч. Дородные мэм, поблескивая на солнце килограммами золота, инструктировали своих юных пасынков, как сподручней подвязаться у г. Такого-то или поднырнуть под г. Такую-то. Быстро перехватить первого зама, инструктнуться на предмет повышения или лучше всего перевода. Да, и заодно уж — по личному делу. Наверняка у Такого-то неплохая девочка в запасниках имеется...

Зал уж полон, ложи блещут... Господа к концу дня растирают затекшие поясницы. Вопросы заданы, реверансы сделаны. Партия готова занять лидирующие позиции. Копытом бьёт и похрапывает.

Оттанцевав праздничную музыкальную программу, утречком гости выстроились затылок в затылок в кассу. Возврат. Билеты, пожалуйста, шлёп-шлёп — печати на бумажках, тр-р-р — машинка отсчитывает купюры. Спасибо — до свиданья. Следующий!

— Слушай, вы откуда? — изумляется большой добродушный человек.

— С Сахалина, — весело подмигиваю.

— Ребята! — всколыхнулся здоровяк. — Дальний Восток не пускать! Всю кассу снимут, до Тулы пешком пойдём.

Я радуюсь его шутке. И долгожданной свободе. На улице разминаются команды «Весёлых стартов» — учатся бегать на лыжах по высунувшейся майской травке. Со стороны пруда доносится недовольный утиный кряк — готовят регату.

Одурманенная двухдневной говорильней выискиваю примелькавшийся стенд. План-схема. Имения и его окрестностей. Неподалёку от сельца и нашего капища стоит Звенигород. А подле него — Саввино-Сторожевский монастырь. Вроде бы неподалёку. Если сейчас выйти — к вечеру обернёмся? Краткое совещание с коллегами. Резолюция — выдвигаться, не теряя ни секунды.

«Неподалёку» оказалось далековато. Кое-как добрели до остановки, дождались автобуса, после пересели ещё на один. Миновали новые микрорайоны, въехали в кукольный одноэтажный городок. На каждой крыше — по коньку, кошке и лоснящемуся на солнце хозяину. Все при делах. Конёк вдаль глядит, кошка гостей намывает, хозяин кровлю поправляет. Хозяйки внизу перебрасываются словечками, намывая до скрипа окна, обновляя краску на наличниках. Дворы тонут в разливах сирени и грушево-яблоневого цвета.

Уткнувшись носом в автобусное стекло, любуюсь звенигородской деловитостью и неспешностью. «Чего-то не то я в этой жизни делаю...» Верчусь-кручусь, скребусь-царапаюсь. Газетки шлёпаю, бумажку трачу...

Вдоль монастырской стены холодком веет — день за полдень перевалил, состарился. У ворот юбёхи повязали, в платки припрятались. «Посты» и ограды миновали, под башенной аркой прошли, тут-то на ровном месте я и хлопнулась. «Поделом тебе, курица! — внутренний голос ругается. — Не в свои сани не садись!»

Насельники-молчальники будто из-под земли выпрыгнули, за руки тянут, поднимают, головами покачивают — беда-беда, больно, поди? «Стыдно, батюшки!» Вслух только спасибо раздаю. Со всеми раскланялись, внутрь собора зашли. Тут уж я по собственной воле на колени рухнула. Не видала до поры живой красоты такой! Стены плотно расписаны, ни пятнышка тебе, ни проплешины. Краски тёмные, спокойные. Как сама земля. И золотые нити ту землю прошивают насквозь. У алтаря рака серебрится, завешенная лампадками. Ладаном пахнет, углем и ладаном...

Позади меня бабушка внучку поучает: «Коли в воротах храма, как она, ни с того ни с сего наземь брякнешься, так и знай — это гордыня тебя перевесила». Внучка кивает, меня стыд разбирает.

Вышли, погуляли, пристроились к экскурсии, послушали. И отправились восвояси. На углу деревяшки разноцветные поперебирали. Купила другу чётки дубовые, а себе — безделушки можжевеловые.

С тех пор я снова запрыгала. Перво-наперво соскочила с партийной поденщины. Потом из пресс-службы сиганула. Не успели студенты картошку на полях собрать, я заявление директору несу:

— Увольте меня, пожалуйста, по собственному желанию. Мне завтра уже в другое место надо...

И уволили, спасибо большое. Даже две недели отрабатывать не пришлось.

Последний мой прыжок сопровождался шумом и треском. Со стороны всех заинтересованных сторон. Я ухожу из аспирантуры.

Пишу ещё одну заяву под перекрёстным допросом: «Хорошо подумала?» «Хорошо». «Ты понимаешь..?» «Понимаю». «Сознаешь..?» «Сознаю». «Что никогда...» «Никогда». «И никто...» «Ни Боже мой! Ни под каким предлогом...» Число, роспись, приговор.

Такая она, жизнь: с дерева надо спрыгивать.

С горы — скатываться.

С небес — падать.

Там, наверху, взгляд становится поверхностным. Я уж лучше по мхам и лишайникам... Где север, где юг... До самого скончания пути.



Обещаю

Коридор бесконечный — тянется... Послушно поворачиваю направо. И ещё раз направо. Шаг, второй. Тяжело уезжать. Ноги свинцовые, не оторвёшь. Время уходит, а я ещё и до электрички не добралась. «Давай же, — подгоняю себя. — Шевелись!» Вокруг спешат, задевают, толкаются. Шаг последний до тамбура — не даётся. Давай! «Осторожно, двери закрываются!» Мужчина поддал сзади плечиком, и я наконец ввалилась в вагон.

— Чё раззявилась, дура! — И ещё раз толкнул уже в салон.

— Спасибо.

— Пожалуйста, — плюхнулся в кресло, распихав многочисленные баулы.

Сижу, телефон тереблю. Что-то недоговорила, что-то главное... В окно уставилась — не вижу ничего, снег.

Распахнулась дверь, и покатили тележку. Мужчина придирчиво оглядел товар, выбрал пиво, открыл баночку и залпом ополовинил её. Смотрю, всё разговорчивее становится.

— Девушка, да не переживайте вы. Я сам лётчик, улетите вы.

Мне только лётчиков сейчас не хватало. Отвернулась.

— Ну что ж вы так переживаете?

— Да не переживаю я, — подала-таки голос. Ошибка.

— Девушка, вы это, — путается лётчик, — не переживайте. Сейчас сядете в самолёт, довезём мы вас.

Голова моя, колокольная, загудела ещё пуще.

— Я сам в Шереметьево-два работаю. На «тушечках», «илюшечках» летал и летаю. А тут товарищ из Тюмени, рыбки мне, икорки везёт.

— Мне-то какое дело?

— Нет, позвольте. Я вот своим каждый месяц заказываю, чтобы они по шесть-восемь килограммов икры передавали.

— Слушайте, отстаньте, пожалуйста, — отвернулась опять к окну.

— Девушка, да не переживайте вы так. У меня у самого сын, жена. Летаю я, — и опять по кругу — про икру, рыбу... Ручки тянет, приобнять хочет.

— Ну, отстаньте же! — негодую. Я вовсе не люблю с незнакомыми разговаривать.

Замолчал на пару мгновений. И опять — а кто вы, а откуда, а на чём летите — на «тушечке», на «илюшечке»...

— На «боинге» лечу. На «боинге»!

Аж банку выронил.

— Так это вы за границу? А я много где там бывал. И на Мальте, и на Кипре...

Он перечислил ещё десятка два стран, хлопая рукой по коленке. Сжалась, но вытерпела.

— Всё, — спрашиваю, — закончили?

— Не-е, я только начал.

— Малыш, — говорит, — ты такая красивая. Тебе скоро лететь, да? А то выпили бы где-нибудь, поговорили. Я тебя на любой самолёт сейчас посажу, на какой хочешь. Ребята у меня знакомые в «Домодедово», ласковые, послушные. Мы же лётчики...

Уставился. Вот не хотелось мне сегодня грубить людям. Страсть как не хотелось. И не нагрубила, сжала зубы и телефончик тереблю. Надо было что-то сказать. Самое главное забыла.

Мучитель мой вдруг угомонился. На выходе из электрички даже доброго пути пожелал. Волшебная сила терпения или искусство дипломатии? Только плохо мне до чёртиков стало. Голова опять разболелась. Купила сигарет — семьдесят пять рэ пачка. Да и выкурила чуть ли не половину. Легче не стало. Замёрзла. «Чего стою? Погуляла, будет. Марш домой».

Давно одна не летала. Всё известно, всё знакомо... Но почему-то сосёт под ложечкой.

И тут поняла, в чём, собственно, дело. Навстречу, заплетаясь в ногах и одеждах, двигалась компашка, во главе которой, ну конечно, мой лётчик.

— Эй, сахалинка! Пошли на посадку!

Куда скрыться, что делать? Товарищи его тоже были явно не прочь познакомиться с девушкой из дальневосточной мечты.

— Поберегись! — заорала вдруг я и кинулась на них, как в далёком детстве, когда играли в «ко́ндалы». На моё счастье компания не выдержала такой пси-

хологической атаки — «ко́ндалы» развалились, я же под крики и улюлюканья помчалась в сектор С. Прошла-проехала-пролетела. Чешу к выходу. Пятнадцать минут до окончания посадки. Игры в кошки-мышки с бравыми лётчиками отняли прилично времени. У моего выхода идет посадка на самолёт, улетающий в Петропавловск-Камчатский. Судорожно соображаю, куда могли переслать сахалинцев? И как назло, никого, кто мог бы подсказать. Присела отдышаться.

Прямо перед носом заметалась дамочка. Судя по всему, тоже опаздывала, и я даже знала, куда!

— Что-то потеряли? — поднялась ей навстречу.

Она смотрела сквозь меня:

— Да, рейс на Сахалин... — прошептала почти беззвучно. — Где посадка?

Сама не заметила, как включился «синдром наседки». Схватив её за руку, интуитивно потащила к эскалатору.

— Наверху нас не ждут, так? — пыталась я выстроить логическую цепочку. — Значит, самолёт стоит где-то далеко. А это значит, что везут до него пассажиров на автобусе, так? А автобусы у нас подают на первом этаже, правильно я говорю? — женщина молча кивала, взгляд постепенно становился осмысленным.

— А вот и наш выход! — обрадовалась я, завидев надпись «YUZHNO-SAKHALINSK. U-103».

Перед выходом — тьма народу. Оказывается, самолёт не подготовлен к вылету, и посадка задерживалась.

Женщине досталось место через проход. Мне же — два уютненьких креслица, в которых просто не терпе-

лось развалиться. И всё бы ничего, но только самолет и не думал трогаться с места. Час, второй... Ждали пилоты, ждали мы, когда же доберётся до нас машина с реагентом. Мороз с новой силой навалился на Москву, и крылья у железной птицы обледенели. Сосед моей знакомой разнервничался. Выпил, разгорячился ещё пуще.

— Идите ко мне, — предложила я несчастной, освобождая второе кресло.

На лётном поле суетились, жужжали. Глаза слипались. Я-то знала, в чём причина такой задержки. Мне так казалось, что знала. «Отпусти меня, слышишь?» В Москве я нашла Зою — дочь старого приятеля моего отца. Они крепко дружили. Приятель умер в Штатах, а Зоя осталась в Москве. Растила детей, внуков. Она старше на целую жизнь... Я сорвалась из Южного на три дня, и мы говорили, говорили, говорили... Бродили по застывшему городу, дурачились. Зоя привела меня к церковке, где венчались Пушкин с Натальей. Так и стоят они — маленькие, заиндевевшие — улыбаются. Провожая меня на Павелецком, она пила кофе, а я пыталась запомнить её лицо, папину, безусловно, улыбку. «Я непременно вернусь. Обещаю».

О пользе мобильников



Продираться сквозь мороз и смог домой, по скользким горбатым улицам, где не то что ни души, света и то почти нет — дело нешуточное.

— Ты дойдёшь? — волнуется знакомый голос в ледяной трубке.

— Дойду!..

Вечер был слишком бурным. В музее собрался весь цвет островной культуры и исторической науки. Важные чиновники любезничали с очень умными учёными. Молодые журналисты и младшие научные сотрудники (-цы) чирикали о своём. Конечно, критиковали, конечно, начальство. Хорохорились друг перед другом, а пуще — перед теми, кто стоял напротив, по другую сторону стола. «Отцы» и «дети» по-прежнему жутко недолюбливают друг друга, и вовсе не из идейных соображений, а только потому, что платят мало, работы много, а история как наука по большому счёту обременяет и тех, и других.

Знакомый презентовал книгу о маяках. В его историю я верю — вот она, живая, как на ладони, вся. Как-



то даже брал нас с мужем «в поля», к месту гибели отряда штабс-капитана Гротто-Слепиковского. Ему — изучить местность, представить в администрацию проект нового мемориального комплекса. Нам — развеяться, подышать воздухом. Всем хорошо.

История отряда Гротто-Слепиковского — последняя драма Русско-японской войны. Пробрались через лес по ещё крепкому, несмотря на апрель, снегу, побродили вокруг массивного деревянного креста и нескольких могилок. Взгляд задержался на яркой сини Тунайчи. Оттуда к лагерю партизан японцы по воде подошли. Мирный плеск. Ничего не предвещающий. Пыталась отгадать в осевших холмиках партизанские землянки, щуря глаза от разыгравшегося солнца. Где-то здесь... Вон, за теми деревьями... Перейдя дорогу, расселись на тёплых оттаявших проплешинах. Прошлогодняя трава в руках золотится. Сухой острый запах. Запах жизни?..

Выжили тогда девять женщин, однако об их судьбе и поныне ничего неизвестно. Ниточки их жизней обрываются где-то на японских островах. А тогда — в августе 1905 года — никто не знал ни про мирный договор, ни про то, что война закончилась. Всё, ребята, баста, пушки врозь!

Затеяли небольшой пикничок в память об убиенных. И, преодолевая распутицу, молча отправились домой.

И что-то тогда перевернулось в душе. Что-то не заладилось, сошло с привычных рельсов. Как в песне: «Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята!..» На бумаге всё гладко и прочно. А здесь... Здесь остро чувствуешь — всё не так!

Весёлая команда «маячников» возвышалась над фуршетным изобилием. Большие, крепкие, как сивучи, парни. Я таких никогда и не видела. Весёлые, простые. На Сахалине маяки до сих пор работают под присмотром человека. В Японии всё давным-давно автоматизировано. Рядом с маяками исторические памятники. В туалете вода, всё работает, описаний исторических пруд пруди, и — ни души вокруг.

Слово за слово, и вот уже до стихов добрались. Самый старший читал что-то складное из Асадова или ещё из кого.

Тут — дёрг, дёрг — студент мой бывший, Игорёк:

— Что вы думаете об этих стихах?

— Товарищ незнаком с настоящей поэзией!

— Ну, может, в таком случае просветите?..

Заподозрив провокацию, всё-таки зашептала тёпло-ласковое из Перелешина, а после с силой из Несмелова, потом уж совсем в голос из Тефтольц, а потом...

Отец мой в музее работал. Старое японское здание. Вокруг — тисы и сакура, кусты кедрового стланика. У подъезда — грозные львы-собаки. Собаки-то до сих пор сидят. А вот куда подевалась огромная черепаха? Помню, как посадил он меня на её прохладный панцирь, оглянулась в тяжёлом полумраке, и поплыли мы в Африку, к Айболиту... И вдруг увидела её вновь, через двадцать три года. Так обрадовалась, что попросила позволения рядом посидеть. Потому что и зверь вдруг уменьшился, и отца моего давным-давно в живых нет.

...потом свои стихи попросили почитать.

Отмотала ниточку стихотворную. Дело такое — чуть дёрнешь, клубок и покатился. Уже и люди расхо-



диться стали, уже и в подвалы музейные спустились. А в голове всё звенит и звенит:

Звонко яблоко покатилось,
Брызнув мякотью на свету.
Зарумянились, заискрились
Капли сладкие на лету...

Чувствую, как сужается пространство, и слух ослабевает, и речь становится труднее. А только нет сил остановиться, ну, нет — и всё.

— Давай такси вызовем? — слышу сквозь туман.

Машу рукой — я сама. А в голове:

Ах, как жаль, что любовь закончилась
В этом мире добра и зла...

И вот иду. Одна в целом городе. Беспокойная, злая. И колотится в голове давно известное: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»

Такой соблазн вдруг обуял вытянуться на грязном заплёванном снегу и смотреть во вселенскую чёрную бездну, где плещутся голубые звёзды. Ну вот. Поскользнулась... Лежу, простившись со всем живым на земле... И вдруг знакомый голос из мобильника:

— Ты дойдёшь? — (Боже, откуда!? Из Москвы...)

— Дойду. Дойду непременно! — кричу, барахтаясь на льду. Неловко всё-таки. Лишь смутно бьётся в сердце:

Земную жизнь пройдя до половины
Я очутился в сумрачном лесу...

Тапир

Мороз той зимой драл нещадно. Человечки с утра летали по улицам, как шары в боулинге, стукались друг о друга и звенели. Всяка животина норовила забиться в тёплую щель.

К полудню отпускало, и город задрёмывал, разомлев на побелевшем солнце. Ещё бы вечером успеть до холодов проскочить... Магазин, продукты, ужин, спать.

Стою, колочусь в ожидании автобуса.

Выбрался из своего закута и Петрович. Утро у него туманное... Пустился с протянутой рукой от одного прохожего к другому, пугая выхлопами перегара и подвальной прели.

— Чирку дай! — добрался и до меня. — Дай! Помру!

— Совсем плохо, Петрович? — пытаюсь разлепить побелевшие ресницы.

— Дай, а? — смотрит, ощупывая мою застывшую душу. Авось слабина найдётся... Петрович терпеть не мог неделикатное своё положение, злился. Подавали ему неохотно и не всегда. Маленький, в побитом, про-



жжённом бушлате, в ушанке, подобранной на китайском рынке, переминается с ноги на ногу:

— Дай чирку-то. На «девяточку». В себя прийти.

Знакомые «состояния». С похмелья не подашь — погибнет, а похмелится — тем более погибнет или менты загребут. И ладно, если в обезьянник, это б ничего. А то вывалят за городом на свалке, ещё и побьют для острастки — мол, знай своё место, дядя. И точка.

— Чирки не хватит, Петрович, — улыбаюсь потрескавшимися губами. Рука-подлюка сама вытягивает из кармана замусоленные бумажки. — Держи две.

— Спасибо! Дай Бог тебе... — лицо его на секунду разглаживается, озаряется. До киоска рукой подать, беги, спасайся, а он стоит, трясётся — уйти боится. Ещё в неблагодарные зачислю.

— Да иди же! — топаю от досады, прикрывая нос перчаткой. Тут, наконец, подкатывает маршрутка. Заскакиваю, хлопнув дверью.

Медленно, как в кино, трогаемся мы с места, а Петрович стоит, растопырился...

Я недавно в этом районе. Дома сдали года два как. Аккуратные, разноцветные, один к одному. Архитектурой не блещут, но приятно глазу. Подруга попросила посторожить квартиру. Сама укатила отдыхать в Турцию, там и осталась, скоропалительно выйдя замуж за системного администратора, обслуживающего крупную сеть отелей. Квартиру же продавать не решилась — «на всякий случай». Вот и сторожу, расставшись, наконец, с любимыми родственниками, лелея покой и тишину.

Переселение народов совершалось бурно. Нагнали телекамер, прожекторов, шарики развесили, вручили ключи, запустили голубей на счастье, ну, — будьте здоровы! Обалдевшие, пировали новосёлы недели две подряд. Потом притихли. Кредиты подпёрли.

Тут-то Петрович и показался. Ходил себе, взъерошенный, брюки чуть перепачканы, пальтишко на всякий случай через руку перекинуто. На лавочке пристраивался, газетки почитывал. Со стороны глянешь — воздухом дышит или за ребёнком доглядывает. Детишки гроздьями висели на горках и качалках разных.

Вечером спохватывался, пиджачок на все пуговицы затягивал и тихонько сворачивал за угол. А там будто сквозь землю проваливался. Ребятня его выследила, оказалось, и вправду «сквозь землю»: через узенькое оконце, между изолированными трубами проскальзывал в подвал. Ни слуху, ни духу.

В августе Наташка, соседка моя, с ним столкнулась.

— Представляешь, — возмущалась, отхлёбывая кофеёк, — такой с виду приличный, и в помойке копается! Мы с Лёней в Пионеры навострились, дай, думаю, мусор выкину, а то за два дня завоняется хата, а там — этот. В пять утра! Весь вежливый, мол, «простите за беспокойство»... И задком, задком. Я ему — «не трухай», а он бёгом.

— И горазда ты людей пугать! — забросив на верёвку выстиранное белье, повернулась к соседке. — В пять-то утра!

— А чё он лазит, где ни попадя? — возмутилась Наташка.



— Значит, надо, — расправляя простыню, отозвалась я. — Может, человек есть хочет.

Наталья глаза вытаращила, поперхнулась:

— Есть?

— Ты думала, он там золото искал?

— Ну, потерял чего, всякое бывает, — забубнила Наталья. — Выкинул сгоряча да пожалел.

В ту пору, как мы познакомились, звали его Василием Петровичем Воробьёвым. И вправду, как птичка, весь подобранный, ладный был. Носик-курносик, глазки маленькие, живенькие. Ростом едва мне до плеча доходил. Жизнерадостный, но очень стеснительный. Я тогда в газете только приживалась, а он уже на пенсию уходил. Фотокорром всю жизнь проработал. Всех запечатлевал: от председателей до писателей. В самом что ни на есть художественном виде. Чуть не на каждой фотографии «Василий Воробьёв» значилось.

Жил один. В «Черёмушках». Там, в глубине. Жену похоронил. Рак. Дочь Маша выросла, в столицу поехала. Поступала-поступала, не поступила. Бросила это дело, нашла парня, с машиной-квартирой, и укатила с ним в Подмосковье. Оттуда пару раз написала и затихла.

Василий Петрович письма её с собой носил. Притулится где, перечитает.

— Ты чего горюешь, Вась? — подсунется редакторша.

— Да так... — заторопится, письмишко приберёт и отвернётся. Постоит чуток, глаза просушит. И вот он — снова весёлый, улыбчивый, ручки потирает — что у нас? Фотоаппарат достанет, тряпочку специальную, и трёт со всех сторон, красоту наводит.

На Восьмое марта Василий Петрович всегда при «бабочке» приходил. И с букетами. «Бабочка» подпрыгивала, болтаясь между джемпером и воротничком. Вместо «здрасьте» тихонько расшаркивался, лучась, будто солнышко. С поклонами раздавал кому гвоздики, кому хризантемы, как-то выудил мне из-за пазухи веточку мимозы. Какой запах! Спасибо, Василий Петрович! А он мнётся, губы закусывает.

Подсаживаясь к столу, раскрепощался основательно, защищённый могучими спинами сослуживцев. Наполняя направо и налево стопочки, ловко цеплял ножом огурчик и сладко хрумкал. Пил Василий Петрович, почти не закусывая. А что её, закуску, переводить-то? Всё равно с утра голодный проснёшься.

В разгар веселья заходил за ним старый товарищ — Петя Мазур. Художник. Вася обрадовано протягивал к нему руки, торопясь навстречу. Они обнимались — щупленький Вася и огромный стенной шкаф Петя. Такой же молчун и простодыр, впрочем.

— С праздником, дорогие женщины! — гудел он напоследок, как только Вася запечатывал с собой выпить. Сумочку подхватят и идут в парк, под дерево. Там рассаживались на картонках, мандаринку делили по-братски и сидели, вздыхали. Петя начнёт про краски... Вася подхватит про очаровательную физиономию, которую недавно подловил. К концу обязательно письмо достанет и в сотый, наверное, раз прочитает с выражением:

«Дорогой папка!

Живём неплохо. Устроились. У Эдика двухкомнатная, получает хорошо, хватает. Район, конечно, так себе. Но жить можно. Учиться я пока передумала. Эдик



обещал на курсы пристроить, можно секретаршей потом работать. Ты не думай. Секретарши всякие бывают. Коли с принципами, так тебя пальцем не тронут. А будешь размазнёй, так залапают, мало не покажется.

Пап, у Эдика свечи на машине полетели и аккумулятор барахлит. Совсем не вовремя. Не мог бы выслать? Отдадим.

Погода хорошая. Не скучай. Твоя дочь — Катя».

— Послал? — в который раз интересовался Петя.

— Послал, — приободрялся Вася.

— Получили? — тревожился Петя.

— Ну, не вернули, значит, получили, — успокаивал Вася.

На природе Василий Петрович очень любил у речки, у костерка суетиться. Выберемся всей конторой на базу какую-нибудь, он тут же дровишек организует, треногу смастерит, котелок навесит. Глядь, уже шурпа закипает. Половником «на глаз» соли сыпанет, лаврушки кинет, перцем подправит. Всё, готово. Других приправ не признавал. Укропу с петрушкой разве сверху присыплет. На кориандры всякие да розмарины раздражался только. Баловство!

Пока народ доедает, Василий Петрович чайку изобразит. В котелок заварки закинет, сахар из рюкзачка, печенье добудет, разложит на клеёнке и уйдёт. Чай уж сами наливайте. Под обрывом его Петя ждал. Петя — рыбак. Его брали за компанию. Чтобы Васе нескучно было. Помолчат у речки, поднимутся, ай — уже хорошенькие.

Бывало, по рюмочке ещё втащут, а там Василий Петрович тихонько лицом в костёр и складывался.

Угли вон как мерцают. Выдернут его, а он, как маятник поломанный, в другую сторону — плюх. И непременно в воду теперь. Глаза прикроет — спит. Всё равно ему — в огне гореть, в воде тонуть. Доглядывали.

В общем, списали Воробьёва из редакции. Проводили на пенсию. Он и заскучал. На свадьбах тогда ещё не шибко прирабатывали. Молодожёны по ателье снимались. На память, как есть, в фате и с бутоньерками выскочат из машины в подъезд, переругаются, примостятся абы как, щёлк, и дальше побежали. Васе такая работа — печаль одна. Да и не возьмут его в ателье — старый.

Как-то пригласили его выставку друга-художника поснимать. Вася расцвёл. Стекляшки свои вытащил из кофра, разложил, отполировал, изготовился. Достал «бабочку», прицепил. Оглядел себя с ног до головы, поморщился. Брюки мяты, джемпер вытянулся и обвис, рубашка застирана... Другого нет. Порылся еще в шифоньере, добыл пару выходных ботинок, шарканул щёткой, нормально. Приободрился. Дверцу прикрыл, в зеркало опять уставился: «Просроченный товар», — вздохнул, пальтецо набросил и пошёл.

На выставке Вася порхал, как воробушек, от одной картины к другой. Приглядывался, принюхивался, ослеплённый ярчайшим зелёным, задиристым ультрамариновым, насыщенным фиолетовым. Ни грамма охры, ни тебе солнечного пятнышка: «Вечерние этюды». Пока публика задумчиво оглядывала цветовые пятна, Вася в свой объектив разглядел силуэты девушек тонкострунных, каменные лица моряков, дождь и вихрь, ту самую, верно прихваченную на полотнах жизнь. Чуть

изменишь ракурс, поди ж ты, мотылёк затрепетал над керосинкой на маяке. Петя любил сильный и крупный мазок. Краски укладывал основательно: паркет под ним скрипел и стирался в труху. Весь перемазанный. В джинсовой робе. Рычащий про лебедей, что в небе, да ковыль, что всё ещё шумел. Вася им любовался.

Едва объявили фуршет, кинулся к столам, наливая в охлаждённые рюмки, скручивая крышки и вырывая пробки из горлышек. Да так ловко у него выходило, глаз блестит, мол, глядите, чего могу. Народ подивился на Васины чудеса и приступил к фуршету. Бутерброды, корзинки, дольки апельсинов-мандаринов запрыгали в воздухе, минуя тарелки. Кольца кальмара и саблезубые канапе метались между любителями живописи. «Да, да, конечно. Стиль, цвет!» «А вот тот капитан, а?» «Сильно, сильно». «А девушка? Чересчур раскоса, не находите?» «Ну что вы, это же маска!»

Вася радовался, фотографировал, забыв про картины, подливал ещё. Без остановки. Радовались и мы за Васю — при делах. Молодец! Вот бы фотографии посмотреть.

А потом Вася пропал. Тщетно искали его по всему городу. Стучали в квартиру, даже замок на всякий случай взломали, никого. Потревожили Петю, не заходил ли... Переполошились не на шутку. Куда он делся? «Скорая», больницы, морги, никто нашего Васю не опознал. Сорвался воробей с ветки и нет его.

Редакцию перевели на Комсомольскую. Там просторней. Из окна на «Горный воздух» любуешься, пик Чехова и свеженький храм. В пять вечера зазвенит колокольцами. В конце как вдарит — бом! Дескать, не

задерживайся. У меня как раз рабочий день кончался. А тут — царап-царап — в дверь. Заглядывает в щёлку, улыбается, уже там, в коридоре кланяется.

— Василий Петрович! Куда ж ты пропал, дорогой? — распахиваю дверь, беру за руки, завожу, ногой подвигаю стул, усаживая дорогого гостя.

Вася тушуется. Краснеет, подмигивает, вскакивает, снова садится. Хвоста не приделано, а то б он им помахал. Без конца подаёт мне лапу, вернее, всовывает маленькую обветренную ручку в мои.

— Я ничего, живой я. После выставки упал на лестнице, расшибся...

— Так мы ж во все больницы...

— Меня ребята в подвал забрали, выходили. Я тогда сильно выпимши был, они и подумали, что я свой. Товарто просроченный, — улыбаясь, разводит руками Вася.

— Ну ты здоров пугать, Василий Петрович! К врачам не ходил?

— Да чего теперь? Живой, видишь...

— А фотоаппарат?

— Разбил... Кузьмич его в мешок собрал, сохранил.

— Тут вон Пётр, друг твой...

— Знаю, помер.

— Переживал он за тебя, Вась.

Василий Петрович вздохнул, оглаживая колени. Достал из кармана совсем прохудившегося пальто пачку фотографий и положил передо мной.

— Возьми, может, пригодятся. У Пети жена год как померла... Стосковался.

Пока я перебирала карточки, Василий Петрович отошёл к окну.



— Смотри, какая куколка! — оживился, тыча пальцем в девочку на той стороне улицы. А потом вдруг опять замялся.

— Василий Петрович, вам денег занять? — догадалась я.

Глаза его благодарно вспыхнули:

— Сотенку, а, до пенсии?

— Да две! — с готовностью лезу в сумку. — Одну до пенсии, другую — до второй! Не нужно ничего, Василий Петрович, так берите.

Задрожал, затрепетал. Деньги принял и попятился к выходу. Кланялся всё, глядя преданными глазами.

Натоптал он ко мне дорожку, появляясь сначала раз в неделю, потом, завидев моё смущение, пореже. Когда я с трудом насобирала ему полтинник, совсем запропал. Скучно без него.

Петровича я сразу опознала, как только переехала. Попыталась заговорить с ним, мол, как поживаешь, но он глаза опустит, газетки свернёт и перебежит на другую сторону. «Обиделся», — подумала про себя.

Как мальчишки-то его выследили да по всему двору взялись гонять, я его к себе запрятала.

— Говори, Василий Петрович, чего у тебя приключилось?

Засмущался по старой своей привычке, закрутился, как уж на сковородке. Врёшь, не отцепишься, крепко держу: «Христа ради, говори!»

— Прогнали меня. Из собственного дома прогнали.

— Да кто прогнал-то? — не унимаюсь.

— Соседи. Жалобу в милицию настрочили, да не одну, что я бомжей в дом пускаю, тараканов развожу, дебоширю...

— Ты-то! — изумляюсь. — Да ты за всю жизнь никого пальцем не тронул.

— Да я уснул, а ребята, видать, нашумели. Штраф заплатил. Там от дочки письмо пришло: «Папа, выручай...» Квартиру продал. Думал, часть ей, часть себе оставлю... Квартира хорошая, двухкомнатная. Надо было на счёт, а я всё наличными взял. Откуда у меня счёт? У дочки тоже никакого счёта...

Ограбили Василия Петровича. В тот же день, как в агентстве со всеми бумагами развязался. Квартира на нового владельца оформлена. Себе гражданин Воробьёв угла не успел присмотреть. И вся песня с припевом.

— Ты ко мне не подходи больше, — извиняющимся тоном попросил Петрович. — Увидят, засмеют. Я тут, в подвальчике. Обжился малёк. Затопят в октябре, не замёрзну.

И ушёл. Вида-то я не подавала, чтоб не расстраивался, а только в окно как глянешь, сердце ходуном ходит, — сидит, на солнышке греется. Было, прошения от редакции придумали писать — так, мол, и так, заслуженный человек, на старости лет, без крыши над головой, принимая во внимание, нельзя ли рассмотреть, помочь... хоть как-то помочь. «А по части чего заслуженный?» — уточнили поверх очков в приёмной. Что работал всю жизнь, то не считается. Все работают. Что настоящий художник, а не тяп-ляп, так то честь ему и хвала, но за одно это угла ему дать не могут. При всём глубочайшем уважении. Ни тебе зва-



ний, ни наград, ни зарубок, ни крестиков. Чист Вася, как младенец. И, правда, не поймут люди ...

Год Василий Петрович перекантовался. Друзья его, такие ж бездомные, один за одним перемерли все. Даром, что мал, а крепче всех оказался.

— Ты его не пугай, — наставляла Наташку.

— А нефиг шастать, где ни попадя! — фыркнула соседка.

Бельё высохло, снимать пора. У меня этаж первый. На улицу выношу. В доме сыро. А ну как подруга вернётся, я-то куда пойду? В подвал, к Петровичу... В общежитие... Куда?

Той зимой все бомжи в городе вымерзли. Хоть и подбирали их, и баню, и кормежку, и ночлег давали, а только всё равно переморозились. Руки-ноги им в больнице оттяпают, отдышатся и опять на улицу. Так они сами на ментов кидаться стали. Уж лучше в каталажку, лишь бы схорониться.

Петрович мой держался, каждое утро голос подавал. Заслышишь про «чирку», ага, живой! Радостно, что живой...

По весне из подвала вонь невообразимая пошла. Оттаял Петрович. Соседи службу вызвали... Бегала, доказывала, что он — это он. Нельзя его как бездомного! Паспорта нет, родных нет. Я ему кто? Правильно — конь в пальто. И никакой не Воробьёв он теперь, а № 427.

Как герань пропадала...

Жила в нашем городе Тамара. Всем Тамарам Тамара. В глухие годы её особенно почитали. А всё почему? Потому что самогон в подвале гнала и в кредит давала. Щедрость — редкостное качество человека переходного периода. Тем более что сама Тамара никуда переходить пока не собиралась, жизнь её устраивала и привычки жаловаться она не имела.

Но однажды встретила я её в растрёпанных чувствах. Сидит на бортике песочницы и плачет.

— Что, тёть Том, и до тебя советска власть добралась?

— Да не-е-е, — заливается. — Если б власть!

— А чего ж ревёшь?

— Пашка, козёл, запил! Да как запил! Я на работу, он — на площадку следом, ключами погремит, за угол завернёт и обратно!

— Тёть Том, а ты случайно не того? Сама-то сегодня не принимала?



— Да что ты такое говоришь! — вздыбилась Тамара. — Ты когда видела, чтоб я с залитыми глазами по городу шастала? А? Видела?

Тело её совершало пружинящие движения, будто готовилось к полёту на орбитальную станцию «Мир».

— Ну, не серчай, — принялась я её успокаивать. — Ты мне лучше вот что скажи. Дядь Паша-то, он как, совсем запился? Ну, совсем не просыхает? Или так — балуется?

— Шут его знает, какой у него график, а только знаю, что пьёт, подлюка!

— Откуда?

— А потому что он как выпьет, весь пятнами покрывается! И запах, запах!.. — залилась опять слезами Тамара.

Вечером я пошла к дяде Паше с дипломатическим визитом — интересно, как это аллергия у людей на спиртное бывает. Да и тётю Тамару жалко. Женщина в возрасте, не один кризис в стране пережила, а тут того и гляди до дурки дойдет. Может, померещилось? Дядя Паша человек хоть и армейский, но сроду слова дурного никому не сказал. Характер нордический, да натура мягкая, без переменной облачности.

Дядя Паша один дома. Дверь отпер, приглашает:

— Чайку?

— Извольте, пан Козловский! — обнимаемся, целуемся.

— Ну пойдём, пойдём! У меня сегодня — каркадэ!

— Что? — не решаюсь повторить услышанное.

— Каркадэ, дурёха! Чай такой, красный, с розами.

— А-а-а! — одобрительно закивала. — А я уж думала...

Дядя Паша приехал на Сахалин из дальних мест. Дед его, говорят, еще в Туркестане контру гонял. Мировыми масштабами человек мыслил. Отец же плюнул на интернационал и ушел в Тибет яков пасти. Дядя Паша пошел по дедовой линии: отучился, приобрёл офицерский чин и, не раздумывая, махнул на самый Дальний Восток. И такое бывает. Здесь освобождал Южный Сахалин от японцев. И за всё время ни грамма, ни полушки, ну вот даже на мизинец не пригубил...

— Чего сидишь? Давай, угощайся, — дядя Паша в пятый раз наливал из чайника красный тягучий напиток. Посуда в доме не отличалась разнообразием. Всему прочему старики предпочитали две оставшиеся от чайного сервиза чашечки. Память о юности. Таких и штук десять выпьешь, не напьёшься. Чаепитие знатное: бублики вензелями, чашечки слониками. На кухонном подоконнике герань кустилась. Из маленького пластмассового горшка тянулись толстенные стебли, с пахучими листами-ладошками.

— Дядь Паш, герань-то у вас какая большая стала, — стала издалека пробираться к волнующей теме. — Подрезать не пора ли?

— А, и не говори! — махнул дядя Паша рукой. — Совсем, дура, ошалела. Прёт и прёт. Откуда силы берёт, ума не приложу.

Щёлкнул помочами, крякнул и потянулся за чайником. Подлил и осторожно вернул на место.



— Я ж её, гадину, в осаду взял — поливать бросил, земли, почитай с год, не досыпаю. Пластмассу, что ль, она жрёт? Поди-к её разбери, чем за жизнь цепляется?

Дядя Паша скосился на зеленеющий куст:

— Эть, житуху-то как любит! Как её выкинешь? — поскрёб в затылке, усы надвое развёл, баранку в чай макает, а в рот не снаряжает. — Томка прознала, что лечебная она. В ухо закладывает листочек еёный, чтоб не стреляло. И проходит.

— Ну, значит, не зря цветок стоит, — обрадовалась я.

— А я говорю — зря! — аж пристукнул кулаком по столу. — Каприз это всё, мещанство. Романсов наслушаются про сирени, жасмины. Моя герань приволокла! А чем те бузина не птица? Она вон света в окне не застит.

Дядя Паша очень уж не приветствовал комнатные цветы. Не любил их сроду. Зато обмундирование царской эпохи на нынешних картинках собирал без счёта.

— Дядь Паш, ну не кипи. Обрежь её и света тебе будет — засветишься весь, — очень мне за герань обидно стало.

— Не, — говорит, — всё равно я эту контру вытравлю! Томка в подвале самогонку держит, знаешь? Вот. Я тою самогонкой цветок взялся поливать. Авось, со света сведу.

Я так рот и раскрыла. Вот те на — самогонкой цветок поливает...

— Дядь Паш, а у тебя, правда, на алкоголь аллергия? — в лоб его так и спрашиваю.

— На дух не переношу!

— И пятнеешь с него?

— Как олень.

— Ой, дядь Паш, вот Тамарка-то обрадуется!

— Чего ей радоваться?

— Она ж решила, что ты пьёшь. Духом, говорит, от тебя несёт.

— От баба, ну даёт! — дядя Паша выпрямился, расправился. А бравый мужик-то ещё. Силищи в нём — троих заломает.

— Дядь Паш, я побегу Тамарке расскажу.

— Ну, беги, рассказывай. От, бабы! Ишь чё надумала...

Дядя Паша проводил меня до дверей. Обняла его на прощанье, поцеловала в чисто выбритую морщинистую щёку:

— Берегите себя...

— Сама будь здорова!

— А герань-то обрежьте. Чего её самогоном травить! — кричала я, сбегая по лестнице.

— Давай-давай, мотор заводи...

Тамары с дядей Пашей уж и на свете нет. Некому самогон в городе гнать да и незачем — на прилавках водки полно. А герань так и кустилась. Окно их акурат над моим. Наполовину геранью закрыто. Видать, дядя Паша самогон всё же мимо проливал.

За ними люди, которые поселились, весь хлам стариковский выкинули и гераньку за косы на улицу выволокли, у бака помойного поставили. Молодые, прогрессивные. Уши не болят...

Я герань на работу взяла. Душистая. Стоит, тянется. «Царствие тебе небесное, дядя Паша». Что тут поделаешь? Все там будем.



Родительский день

Дорогу размыло. Только Пасху отпраздновали, и Радуница подкатила. Рановато, ещё и не распогодилось толком. В сапогах резиновых топаю, чтобы уж пробраться наверняка. Тропы знакомые: вот сейчас прямо-ненько, а там — между оградок налево чуть, вон к той облезлой жестянке. Отец мой там...

...Когда отца хоронили, я совсем еще малая была. Мало чего помню, но что помню, то уж вовек не забуду.

До сих пор вижу и белые полотенца, и листья октябрьские, слетающие к нему на подушку, и зелень последнюю, уходящую. И он — большой, в тёмном костюме... Папка мой.

Толпища собралась страшенная. И откуда столько? Будто галки перелётные — вот-вот снимутся с места. Многие уже рюмочку приняли и веселились. На них цыкали, и на секунду голоса замолкали. Но снова вспыхивали невзначай.

Меня передавали из рук в руки, как кулёк с семечками... Мир пролетал мимо, и я никак не могла понять — а что происходит? Почему отец мой лежит в

каком-то ящике, обитом бордовой тряпкой, почему не встаёт и не идёт со мной играть? Почему вокруг, словно капельки капают, — он был, был, был... И пузыри в лужах — был, был, был...

Наконец-то круженье прекратилось. Уставилась на отца — большое, спокойное лицо, желтоватая кожа, плотно сомкнутые глаза и рот, застывший в улыбке...

Вот так он улыбался, когда однажды зашёл за мной в детский сад.

Я — насупленная, вышла из общей комнаты и остолбенела:

— Папка!

А он вытащил из кармана рогалик:

— На!

Я прыгала и скакала. Насилу одели. Надо же — папка пришел!..

...Внезапно грянула музыка — дребезжащая и кашляющая. Очень неприятная музыка! Папку моего накрыли ещё одним ящиком, забили гвозди и понесли к огромной яме. Подтянули на полотенцах и... Одно вдруг лопнуло, ящики разъехались, и отец мой вырвался на свободу. Глаза его открылись, руки судорожно схватили обрывок ткани, и вся толпа ахнула. Громко так:

— А-а-ах!

Кто-то из дяденек матюкнулся.

Его одобрили.

И в эту самую минуту я поняла, что такое смерть — это когда вот так вот укладывают в ящики спящего человека и зачем-то запихивают в яму, вырытую глубоко-глубоко. Навсегда-навсегда! Я все поняла про «был» и «умер», и от неожиданности заорала:

— Папка, папка! Он же живой! Он проснулся!..



Чтоб не орала, дали в руки пять копеек и сказали:

— Бросишь папке-то!

Кивнула и крепко зажала пятак в кулаке. «Когда же бросать? — думала я. — Ну, когда же?» Для папки ничего не жало, даже этого пятака, первой моей деньги, ничего не жалко. Вот только зачем она ему, эта деньга?

В толчее монета выскользнула.

— А! Денежка укатилась! — пискнула я. — Денежка укатилась! — повторила громче, но никто не слышал. — А! — крикнула в ухо державшей меня тётеньке.

Кинулись искать мой пятачок, но в траве, всё ещё густой, хоть и изрядно помятой, вряд ли сыщешь.

— Денежка потерялась, — горевала я. — Потерялась денежка, папке ничего не достанется. —И уже не папку жалела, а то, что я такая ротозейка — маша-растеряша.

— Ой, дайте же ей мелочь! — нервно воскликнули рядом. — Так ведь и будет орать!

— На, маленькая! — протянула мне серебряную монетку незнакомая тётенька с седыми волосами. И тут же запричитала: — Господи, Господи, такую махонькую сироткой оставил... — и пошла, утирая слезу платочком.

Довольная, я кинула вместе со всеми свою монету туда, вниз.

— Держи, папка! — и замолчала.

...С тех пор меня не брали на кладбище. Ни когда дед умер, ни когда бабушка успокоилась после долгой мучительной болезни, никогда. Говорили, что я сильно кричала во сне и просила папку вернуться. О том, что он повесился, я узнала позднее... И вот думаю я теперь, папка, на кой нужны все эти деньги, если легче

закопать человека, чем спасти его бедную душу? И что делать мне, когда время так легко стирает из памяти твоё лицо, твою улыбку?!

Я бы спасла тебя. Вцепилась бы, что есть мочи, лишь бы не шел ты ТУДА.

В том октябре мне было уже три года, а тебе — двадцать четыре. Мы оба июльские.

Я уже старше тебя. В родительский день я безошибочно отыскиваю твою могилу — маленькую, стиснутую со всех сторон. Стою молча, не знаю, с чего разговор-то начать, ну, закурю, бывает, ну, приберу тихонько — так, для порядка.

После твоей смерти худо нам с мамкой было.

Дед пристроился в детский сад, куда меня водили. Свиней держал, так вот и возил меня зимой на саночках. Хотя нет — бидоны на саночках, а я сверху.

Лопаты мы с ним делали и мухобойки, с дедом-то. Ага! Ловко у нас выходило. С ребятами не дружилось чего-то. Злые они были — всё время очки мне ломали. Я ведь такой же очкарик, как и ты. Ну и ушли мы с дедом от них.

Дед болел сильно. Кашлял, хрипел по ночам, со мною спал, в дальней комнатёхе. Натопит печку жарко-жарко, одеяло мне подоткнет, Ваську — кота — кликнет. Я без него не спала, без кота-то. Так и коротали зимы. Пирожные мне всякие покупал, а себе — чекушку, чтобы сосуды расширить. Я его за руку водила: не упади. А дома — уй! — бабуля налетит:

— Опять с ребёнком пьяный ходишь! — покричит, покричит, сядет и заплачет.

— Маш, ну, прости, Маш, — треплет за плечо. А она ещё пуще заливается. Тут и я подхватываю:



— Ба, ну не плачь, — и носом трусь о её щёку.

— Уйди, коза, щекотно, — веселеет. — Кому сказала! От, я тебя сейчас! Марш руки мыть оба.

...Деда моего тоже из петли вынули. В последний раз его видела, сильно выпивши домой ввалился. Стекло разбил на веранде и в окно залез. Кричит, плачет. А мы с матерью прибежали, ничего не понимаем, проснулись только:

— Деда, ты чего?

— Папа! Что ты?

— Не могу больше! — дед кричит. — Надоела жизнь эта треклятая!

— Деда... — позвала его.

— Всё, погулял! — крючок с двери скинул и ушёл.

Солнечный день был. Мать осколки вымела, плащик дедов обтряхнула.

Так и пропал дед. Потом меня на могилку его привели. Смотрю на памятник — дед!

— Нет, не он, — говорят, — брат его.

— Как же не он, — удивляюсь, — когда он?!

— Нет, — бабуля стоит на своём, не он и всё. — Дед лечиться поехал. А брат похож сильно на него.

Знали, что затоскую. Дед для меня был всё.

Так-то вот, папка. Одно жаль — самовольники. Ни записки подать, ни свечи зажечь... Лежишь тут себе, в ус не дуешь. А мне ещё жить надо — до поры до времени. Иной раз думаешь, скорей бы уж. А после — так жалко себя станет... Ладно, не сердись. Ты у меня сегодня прибранный. Домой пора. Холодная нынче Радуница.

Сладенькая

Я ем изюм, ищу во всём изюминку. Мой будильник остановился. Я — в отпуске.

Ошибка — позволять человеку отдыхать. Пусть сдохнет на работе — с почётом, в кругу самых близких и проверенных людей. Настолько близких, что уже тошнит. Впрочем, на работе я тоже развлекаюсь, как могу. Последний шанс — остаться в живых.

Я ем изюм. Вся моя жизнь — банка со специями, балансирование между сладким и горьким. Не проще было бы выбрать один вкус? — так нет же, хочется разнообразия. Чтоб и с перцем, и с солью. Я — слепок шведских ледников и хазарских плодородных земель — на Сахалине живу чужестранкой. Где моя родина? Вы её случаем не видели?

Я читаю «Изюм» Татьяны Толстой, потешаюсь и плачу над каждой строкой этой гарпии, этой фурии, бесподобной женщины, оседлавшей слово, как заскучавшую лошадь. Но-о! — понукает она, и буквы строятся в ряды гуманитарных сил сопротивления.

Ну и ну! — покатываюсь от смеха, уравновесившего все «за» и «против», условности и предрассудки. Врёте, я всё ещё живая и хочу живого слова, тонкого, вкусного, острого. Подбрасываю словесный шарик и — БУМС. Повинуясь силе притяжения, свободно летит он в непокрытые головы. И начинается: шишки, синяки, слёзы, вековые обиды. Что же не ловишь, родимый? Ловить надо. И подбрасывать. Болото человеческое изредка расцветает. Скачешь по майским кочкам в надежде перемахнуть на «другой» берег, где, если повезёт, встретятся Набоков и Фрейд, Ильин и Поплавский, Эйнштейн и Ковалевская, а Кирочка Муратова заботливо обработает раны чеховскими мотивами. Изюм, одним словом.

Мамлеев из меня душу вытряхнул. Сорокин сделал в нее «ка-ка», завернул в тряпочку и подал с равнодушным видом: «Упало». Спасибо, хоть Пелевин сориентировал: поколению «П.» приходит полный ...ец (для недогадливых). Как в страшилки играть: кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест... Да ведь не слышат же. И кошек на всех не хватит. И общество защиты домашних (и диких) животных устанет вытаскивать бедолаг из лужёных глоток российских (столичных) писак. Трупы. Гора трупов при удачном стечении обстоятельств, и вы, как минимум, автор бестселлера. Только вот имени я вашего не упомню. Как, как? Неразборчиво! Распетрушились Петрушки, раззвенелись Звонари, рассмеялись Смехачи. Закрутились в бараний рог и мечтают об изобилии изюма. «Ну-у-у, понимаете ли...»

Ищу во всем изюминку... Маленькую такую. Где это видано, чтобы в булку клали всего лишь одну изюминку? Как минимум — две! Ну, от силы — три. Проглотишь одну такую и вспомнишь о Востоке. Потянет к персам. В гарем. Вот глушь-то. Саратов отдыхает. А там — шербет, лимонные дольки. Великолепно. А на женщинах сплошь и рядом паранджа. Правильно, завесьте им физиономии, они и присмиреют. Женщина «с лицом», она ж разбираться начнёт, пальцем тыкать, клеймо ставить. ХУ-У-У — чпок! И пойдёт какой-нибудь шейх, с пропечатанной на ляжке цифирью, страну пустынь покорять. Совершенно правильное отношение, а то, ишь, затеяли равноправие. И чего? Авоськи разве что не в зубах болтаются, помятые, еле сводят концы с концами, матом кроют, крыша осыпается... А потом вдруг — раз, платочки повяжут, семечек сковородками нажарят и как сморщатся! Будто после пятидесяти сразу жизнь кончается. А где изюм? Злые и жадные, как собаки. Нечем мужикам украсить свое бренное существование, кроме как привычкой да воспоминаниями. Богатым по-своему тяжело, а среднестатистическим уровень доходов позволяет только грезить о восточном подворье, где он выбирает, с кем ему лунную ночь скоротать. Крепитесь, ревнители потенции и даров духовных. Наступит и наше счастливое время — клеймо ставить. Долой мать уродов! Даёшь изюм! Прочь кожаное шариковское равноправие! Ну какой я вам ТОВАРИЩ? Ослепли вы, что ли? Какое равенство? Вот доем изюм, дочитаю книжку, сосну часок-другой... И как возьмусь украшать!

Пешком по воде

Десять лет город не отпускал меня. Маленький, душный, пыльный. Жуткие десять лет я томилась в объятьях наших тоёхаровских улочек, не замечая жизни, связанная по рукам и ногам обязанностями (труд облагораживает человека, несомненно!), тотальным безденежьем, наивными привязанностями, незамысловатыми любовями и попросту тоской смертной. Тоска, что живёшь на острове и хода тебе — ну никуда, кроме как по кромке синей воды, да напрямик — через болота — на север. Честно скажу, и на эти захватывающие странствия денег у меня тоже не было. Вышла замуж, окрепла, и взор мой обратился на карты и атласы.

Сахалин я в детстве изъездила вдоль и поперёк, сопровождая мать в многочисленных командировках. Но кружили мы неподалёку от железнодорожной ветки — из пункта А в пункт Б. И всё! А вот места по-настоящему заповедные, сокрытые непроходимыми медвежьими чащами, болотными хлипкими тропами, крутыми скалами, ниспадающими в пучину морскую...

Эти-то места влекли беззаветно, ночами проступали в беспокойных снах. Тело скучало по дальнему и желательно долгому пути. Господи, да когда же?! Когда этот мир примет меня и я увижу не эти опостылевшие Тёплые озера, Охотское побережье да Анивское взморье, а что-нибудь посущественней?

Друзья-геологи несколько раз проговаривались о местах, в которых можно было поискать аммониты. Изучили с мужем дороги и подступы, рюкзаки за плечи и — в путь. Автобус до посёлка Дальнее, пять километров пешком по старой японской дороге до керамзитки и — заслуженный пейзаж. Огромное марсово поле, серое и спокойное, лежит посреди расступившихся гор, на которых — торжество зелени и лета. Жарко. Переглянулись и уселись перекусить, передохнуть, попить водички и решить — что нам с этим делать. Как искать эти аммониты? Как они выглядят? Знания наши имели чисто теоретическое свойство. У мужа были с собой маленькая кирка, геологический топорик и ещё какой-то несерьёзный инструмент. Для разбивания небольших «бомбочек», в сердцевине которых таился окаменевший моллюск. Я согласилась порыться в ближайших отвалах, вдруг что сверху можно подобрать. В общем, вздохнули и ухнули в серую пыль. Муж молоточком, я — руками, натюкали-натаскали, нагребли сумку мелких и средних аммонитиков. Пот смахнули, и давай богатства разглядывать:

— Что скажешь? — смотрю на мужа.

— Хороший взяток, — одобрил наши старания. — Мелковаты, правда. Но, в общем, ничего.

— Ну, тебе сразу музейные подавай!

Музейный экземпляр мы всё-таки нашли, да какой — в три обхвата. Случилось это уже осенью, при участии братьев-геологов. Красавца выволакивали трое взрослых мужиков — на лямках, пыхтя, кряхтя и приседая. Дотащили, погрузили в автобус, довезли до реки, плюхнули в воду, обмыли и — ну, кувалдами колотить.

— Эй, — ору, — вы что делаете-то?!

Оказалось, делают они сколы, убедиться, что это действительно крупный аммонит, а не скопление мелких. Убедились, отдышались — ну что, по чаю в таком случае?

За аммонитами мы ездили ещё несколько раз — на речку, где мне доверили уху, а друг наш Толя (геолог) и муж мой Коля (поэт, член Союза писателей) прочёсывали реку, надев очки и болотники, закутавшись от мороси по самые уши и намазавшись гремучей смесью, от которой не то что комарам — людям смерть.

Коля с особым тщанием продолжал испытывать меня на прочность. Как не старалась ему доказать, что человек я походный, значок получен в Закарпатье — за выносливость и пригодность к туризму, у него на этот счёт были свои соображения.

Итак. Мы сделали самую ценную покупку. У нас завелась палатка, двухместная, с предбанником, высоким полом, ну и так далее. Расстелили её посреди зала и любовались, любовались, любовались...

— Где испытаем? — спросила я.

— В Тихую поедем, — постановил Коля.

Поезд, 5.30. Четыре часа по узкоколейке до станции Взморье. Она нам уже знакома. Здесь мне впервые показали агатовые проявления. Стоять сорок минут. Во

Взморье продают самые лучшие пян-се, манты и чебуреки. Быстрым скоком за ними, глубокий перекур, осмотр местного рынка, вплотную подошедшего к железнодорожным путям. Ещё час, и наконец мы спрыгиваем на щебёнку станции «Тихая». Уверенно шлёпаем мимо заваливающихся домиков. Поворот, второй, пятый... И тут случается непредвиденное — Коля забывает, тщетно вызывая из памяти, маршрут нашего пути. В общем-то, направление одно, только дорог — аж три. Выйти на берег сразу не удаётся. Мы, как добры молодцы, сходив налево и направо, всё время возвращаемся к исходной точке. Огромные самосвалы выкатывают из-за угла, прижимая нас к скале. Один залюбопытничал:

— На море?

— Ага. Где проход-то? — спрашиваем.

— А вон... — дальше объяснялись жестами, потому что откуда-то сверху грохнуло так, что уши заложило. А этому малому хоть бы что — лопочет себе.

Ещё километров пару — мимо рыбного стана, мимо скалы-острова, настоящее название которого — Заметный. Стоит этакая глыбина, а над ней — чайки кружат и плачут. По отливу дойти можно, но вот забраться на него — ни одному смертному без вертолёта не под силу. Скала и скала. Чайки потому здесь и прижились — никто не беспокоит, рыбы вдоволь, никакой зверь гнезда не разорит. Заслышав этот пронзительный крик, ужаснулась — как жить-то будем? Не уснуть, не поговорить... Коля рукой машет, мол, погоди, не время трепаться. И идём дальше. Бухта кончается, мыс впереди. А муж всё машет и машет — дальше.

— Да куда дальше? — взмолилась я. — Берег-то вон он — тю-тю!

— Иди за мной.

Смотрю, разулся мой проводник, сапожки снял, штанишки подвернул — на всякий случай — и шлёп, шлёп, шлёп — под скалистую арку по водичке.

У меня — мороз по коже. Это что ж, в открытое море топать? Я, конечно, не против, но ведь — в море... Остановилась, переобулась — у меня сапог нет, в тапочки китайские прыг, штанишки тоже подобрала, глаза зажмурила и — шлёп, шлёп, шлёп — за ним. В этом месте мыс «прижимистый» был. Прижало к скалам — ступить некуда. Хорошо — отлив. А море — холоднючее. Так вот, значит, шлёп, шлёп, шлёп, и через некоторое время оказались мы в таком месте, где не то что чайка не пискнет, трава не шелохнётся. Такая тишина, что даже волны шёпотом разговаривают. Ветерка не слышно. У берега встретили нас причудливые слоники — отвалившиеся от скал куски породы. Плавника много — значит, костерок будет из чего соорудить. И про холод забыла, и про то, как корячилась на прижиме, огибая мыс. А что, в общем-то, простенькая прогулочка...

День любовались на двуглавую гору Жданко — то выйдет из тумана, то запрячется. Вечерком сообразили чаёк, сели друг против друга.

— Ну, как?

— Слов нет, — развела руками.

А что тут скажешь, когда душа выпрыгивает на волю и живет своей, отдельной от тебя жизнью. Ты — вроде не ты, это облако, которое летит к пикам Жданко, а потом скатывается к морской воде, вспарывая её

тугую живую оболочку. Ты — созерцатель, молчаливый Будда, и трёп неуместен в этом священном действе. Сиди, слушай и смотри.

Не помню, как уснули. Но недолго длилось наше счастье. Полночи протряслись от холода, потому как пожалели денег на коврики. Катались по дну палатки, подтягивая всё что можно под озябшие спины. Да и жестковато на морском песочке. Кое-как до утра доскреблись. На берег за плавуном повыскакивали, костёр развели, кипятку дождались. Ага — вот он смысл жизни, струится по жилам, доходит до самых кончиков пальцев, ввинчивается в притупившийся мозг. Блаженное тепло воскресило бодрость духа. Но надо было собираться обратно. Последние несколько часов удалось заполнить до отказа.

Солнце распалилось не на шутку. Разулись и побрели по песочку дальше — в сторону дальнего мыса, за которым оказалась ещё одна бухта, не менее живописная, но очень суровая. Бухта, где муж мой собирал агаты. Вода во время отлива прогревалась — маломало, но всё-таки.

Слезы наворачивались, когда мы достигли оконечности мыса Красного. Босиком ходить тяжело. Дальше пройти вообще не представлялось возможным. Здесь — глубина. Полный непроход. Отвесные скалы уходили в море сплошной стеной — не зацепишься, только верхом. А зачем, спрашивается? Нам и этого достаточно.

— Вон смотри, — подозвал муж, — мыс Бурунный. За ним урочище Цветочек Аленький. Красота там! А агаты! Любимая бухта моя агатовая там.

— А пойдём туда в следующий раз?

...В общем, сходили мы всё-таки в Пугачёво, в урочище Цветочек Аленький... Внезапно, как снег на голову, свалились Колин сын с женой из Греции. Просто позвонил и сказал — папа, еду. «Глаза, — говорит, — закрываю, Сахалин вижу, рыбалку, по друзьям соскучился. В общем, папа, через два дня будем».

По такому случаю взяли неделю отпуска. И отпустили, и поехали. Правда, расписание поездов сдвинулось, и дождь зарядил нешуточный. Но разве нас остановишь? Впереди большой поход. Казалось, что я уже ко всему готова и всё могу... Как же я заблуждалась. Мой закарпатский значок туриста можно выкинуть на помойку, потому что он не оправдал себя ни на йоту в этом странном, захватывающем и всё-таки ужасном путешествии.

Но обо всём по порядку. Стоим на перроне, разбираемся с билетами. В этот раз Тоша снабдил всех драгоценными ковриками, и наши спины благодарно отнеслись к его подарку. Уже накрапывало. И всё предвещало, что вот ну не попадем мы в отлив, как предполагалось ранее, что, как пить дать, вляпаемся в самый прилив. Но разве это преграда для изголодавшихся по походным страстям греков? Да уж, как уж. Держите нас семеро. А мы-то, мы! Оголтелые, обрадованные. Сейчас приедем, Тоша рыбки наловит, ушицу сварганим. Кто устоит перед таким соблазном? Только очень и очень рассудительные люди, каковыми мы в данную минуту не являлись.

Едем. Поезд медленно проскальзывал меж широких полей, скрипел, но забирался в горы, радостно посвистывая, нёсся сломя голову вниз, кружил по

выбитой в скалах дороге. Вот и Взморье, знакомое, родное. Во Взморье — ливень. Так, что будет дальше? Горячий кофе и чай с пянсешками и пирожками. Арсентьевка — железнодорожная развилка. А вот и Тихая — привет тебе, дом мой, где так здорово провели июньские выходные! И, наконец, Пугачёво.

Выгрузились и насторожились. Погода совсем не располагала к знойным прогулкам. За плечами у каждого по 20-30 кг и ещё добрый десяток — в руках. Прежде скажу, что дорогу знали все идущие. Кроме меня. Почему-то решено было не посвящать меня в святая святых, сколько не приставала с расспросами. Только отмахивались — увидишь. А что увидишь, куда идём, что там? — ни-ни. Тишина.

Тошка с Викой припустили по колее, за ними друг их Женька, и мы в хвосте ковыляем. Тащить на себе недельный запас... Что-то не обрадовалась я перспективе топать с такой поклажей невыясненное количество км до моря. Мужчины собрались на совет. Решено — искать машину. Сунулись к одному — пьян, к другому — занят, к третьему — бензина нет. А рядом уже в полную мощь тянут трубопровод — стройка века, стало быть, развивается. Разбудили кого-то, посулили сотню-две. Тут же слетелась целая бригада провожатых. Выкатили из гаража автобус и повезли нас к морю.

— И что, — оглядываюсь на мужа, — мы бы всё это пешком. Да?

— Да нет. Окружным путём везут. Напрямую ближе.

— Ну, ребята, — прорезался водила, — молитесь Богу, чтобы Саныч с ночи ключи на шлагбаумах оставил.

Что за Саныч, почему он должен ключи оставлять? Вопросов тьма-тьмущая.

Шлагбаумов оказалось аж три штуки. Кто-то из нас, видимо, молился с усердием, потому что и ключи Саныч не забыл, и вообще — хорошо было ехать. Автобус зарывался носом в ямины, окатывал себя жёлто-красной водой, разбрасывая комья глины. После очередного поворота вдруг — море. Серое, туманное, шумит в воротах-скалах. В японские времена здесь жили люди. А сейчас здесь рыбацкий стан. Если бы не судёнышко, качавшееся на волнах поодаль, вовсе бы не поверила, что бухта обитаема.

Коля уговорил водилу подвезти нас как можно ближе к берегу.

— Сколько возьмёшь? — деловито поинтересовался муж.

— Чтобы мужиков не обидеть, — качнул головой в сторону сообщников водила. — Нам здесь водки не дают, понимаешь?

Коля полез за деньгами — на литр хватит? Тот покивал — в самый раз, а не то разойдутся ребятки, вахту сорвут. Ладно, по рукам. Водила опять с вопросом — не подобрать ли вас, ребятки, на обратном пути?

— Не стоит, — откликнулся Тошка. — Мы ещё сами не знаем, когда обратно пойдём. Бывай! — махнул на прощанье рукой.

На берегу огляделись. Святы Боже! Вот он — дикий, древний мир! Коля не преминул вспомянуть подробности географии близлежащих земель, но я слушала вполуха и мало что запомнила. Взгляд мой был прикован к воде, которая вскипала и бурлила прилив-

ной волной уже очень-очень близко. Отлив мы всё-таки прозевали, теперь меня волновал только один вопрос, как высоко доходит прилив с учётом надвигающегося шторма. Вот это я попала в пучину дальних странствий! Мой внутренний голос замолчал, вернее, покинул меня, предоставив возможность самой выпутываться из этой передряги.

Мужички наши быстренько переобулись — кто в болотники, кто в тапочки, кто вообще припустил босичком. Я надела тапочки, старые, проверенные на прижимах Тихой. По такому случаю — только резиновая подошва, любая другая не годится: унесёт с первой же волной, соскользнёшь, как миленький, и ой сказать не успеешь. Ну вот, резина на мне, вода ещё невысока, но уже по колено. В Тихой я нервничала по поводу щиколотки. Вот блин. Какой же дурой я чувствовала себя теперь.

— Да расслабься ты, все нормально.

— Да, щас, как расслаблюсь, собрать не успеете. Давай, тори дорогу.

И пошли. И омыла ноги мои ледянючая охотская водичка. И вспомнила я всех предков своих до самого седьмого колена. Ступала медленно, пока нестрашно. Обогнули один мысок, вышли на берег, тонкой полоской скользнувший между скалами и водой.

— Отец, торопиться надо, — Тоша, великий бесстрашный Тоша!

— Поспеем. Прилив только начался, — спокоен отец.

— Какой прилив, море — штормит! Я одна это замечаю, да? — вдруг прорезалась я. Вопрос повис в воздухе.

И пошли дальше по предательски скользкой гальке, по окатышам и валунам. Скалы угрозливо выдавались вперёд, наклоняясь над нами. И вообще напоминали разрезанный пирог — сверху неприхотливо зеленело всё, что только могло зеленеть. А дальше — серая масса, по которой скатывались воды грунтовые, воды земные. Уф! Идти по-прежнему больно. Камни впивались в подошвы, и никакая резина не спасала.

В голове хаотично прыгали мысли и мыслишки, одна из которых надоедливо жужжала — не упади, не упади! Осторожно, следи за собой. И — свершилось! Во время очередного перехода под куском обвалившейся скалы — плюх, бряк, кряк, твою мать! Это я упала со всем несомым имуществом в воду. Вылетела на берег, но на удивление даже не успела намокнуть. Запрятала лицо в ладони и усиленно стала тереть виски. Коля молчал, Женька, шествующий за мной и запечатлевающий всё происходящее на видеокамеру, честно откомментировал:

— Один из наших потерпел крушение!

Он был недалёк от истины. Я готова была заплакать, бросить всё, сесть и сидеть до самого возвращения этих — туристов...

Коля курил.

— Надень сапоги, тебе удобнее будет. Что ты в этих тапочках мучаешься?

— И так переобуваться каждый раз? Сапоги — тапочки, тапочки — сапоги? Скажите, наконец, долго нам ещё идти?

Несколько прижимов прошли молча. Тошка торжественно и гордо впереди, Вики уже и не видно было,

Женька развалил кроссовки вусмерть. Пришлось привязывать подошвы. Тут Коля закричал обрадованно:

— Лисий мыс перейдём — и на месте. Я тебе грот покажу, где и летом лёд стоит.

Как мне хотелось ответить, Боже, как же хотелось сказать от души-то... И про лёд, и про полковника Аурелиано Буэндиа, и про всю свою незадачливую жизнь. Мы опоздали — волна уже ухала в каменные глыбы. Оставалось только одно — штурмовать вéрхом. А это значит, карабкаться по отвесной скале, цепляясь за перья травы, висящие на честном слове, переползать на пузе небольшой ров и — оползнем вниз. Высота метров двести. Делов-то куча.

— Эх, мама дорогая! — и поползла. Вперёд, вперёд, по осыпающейся земле, судорожно хватаясь за всё, что хоть сколько-нибудь внушало доверие. Упаду так упаду — плевать мне на всё, сама напросилась, сама. Э-эх! Уже качусь вниз, обрушивая глину и тщедушную зелень, прямиком в агатовую бухту. Обернулась. Нет, не тварь я дрожащая. Так махнуть! Аж дух захватывает. Постепенно на берегу очутилась вся компания, и двинули дальше...

— Ты же сказал, что за Лисьим мысом конец, — заскулила.

— Да, сейчас, только вот эту скалу обойдём.

Я застонала, он же мужественно вошёл в жёлтые воды почти по самую грудь, держа над головой рюкзак, какие-то сумки. Тошка хоть и был в болотных сапогах, но промок изрядно. Он первым добрался до места назначения и теперь помогал отставшим преодолеть последний рубеж. Посреди перехода я зависла. Было

довольно глубоко и мутно, не видно, где пологий выступ, а где впадина. Тошка подскочил, забрал палатку, Коля протянул руку, пытаясь ухватить меня за рукав, но я уже нырнула. Ну вот, дошли. Выплыли из этого безобразия. А у меня ещё один робкий вопрос:

— Кто-нибудь может мне объяснить, — начала издалека, — где здесь палатки разбивать?

Мы оказались в лоне маленькой бухточки, песчаный берег которой ненадежной полосой пролегал между двух отвесных скал. Сверху обрушивался водопад. Ревел и закручивался прямо у нас под ногами. И как-то не очень хотелось оставаться здесь.

— А нам не здесь, нам туда, — махнул Тошка рукой в сторону водопада.

— Ну, последний бросок, и мы в урочище, — подбодрил Коля.

Как?

Вика, умница, показала. Скок, скок, скок по выступам, по травам, мелким выбоинам. И уже там, наверху. Да я и с пустыми руками туда не заберусь. Никогда! Я остаюсь здесь. Кайфуйте там себе наверху, а я уж тут как-нибудь.

Тоша склонился надо мной и тихим ласковым голосом произнёс:

— Видишь воду?

— Ну?

— Через час она будет здесь.

И пошёл.

Почему-то очень захотелось курить. Глубоко затянуться дымом, чтобы лёгкие лопнули, и весь мой жизненный путь закончился здесь, у этой скалы, на кото-

рую даже смотреть не хотелось. Странно, но желание жить всё-таки побороло перспективу окоченеть в ледяной воде. Прыг, прыг, прыг, — вот как это выглядело в глазах всех остальных. А вокруг...

Высокие травы, склонившиеся под тяжестью дождевых капель, берёзовая роща, смешивающаяся с лесом. Вот так урочище! Вот тебе и Цветочек Аленький.

Едва закончили с палатками, снова ударил ливень. А мы только-только переоделись в сухое. Попрятались под наши тонкие кровли и замерли — всё казалось, что дождь прекратится и можно будет развести костёр, чтобы приготовить чего-нибудь горяченького и высушить одежонку. Не тут-то было. Дождь зарядил до самого утра. Перекусили, чем Бог послал, теснясь впятером в главном жилище, и — спать.

Место, где мы оказались, было не таким уж необитаемым. Посреди поляны кто-то оставил лаги, на которые, судя по всему, натягивался тент. Неплохое пристанище. И трава вокруг примята, хотя и успела чуть подняться после предыдущего нашествия.

Это было странное, непонятное для меня время. Дома мне казалось, что нет ничего прекраснее встречи с неизвестной бухтой. Теперь хотела поскорее удрать отсюда. Но очень хорошо понимала, что присутствующие не разделяют моего желания. Пришлось полюбить это место.

В первый же день меня назначили костровой, потому как погода ещё была под сомнением, а ходить вниз по водопаду за дровами — увольте. Думала, что вообще никогда не спущусь больше отсюда. Ничего.

Дня через два скакала, как горная козочка, с мешком дров на плече. Вода в реке спала. Показалось солнце, море успокоилось, можно было начинать жить.

Сколько раз я готовила рыбу, не знаю, не считала, но продымилась изрядно. В конце концов возмущённо напомнила присутствующим — я тоже человек и хочу ознакомиться с местностью. Никто не возражал. Но есть мы стали позже обычного.

Итак, огляделась. Внизу два валуна преспокойно лежали в море. Во время отлива мы с Колей забирались на них и размышляли о завтрашней погоде. Здесь она менялась каждые два-три часа, и угадать, что ждёт по крайней мере вечером, невозможно. Сейчас жарко, через час поднимался ветер и сносил наши нехитрые приспособления и постройки. Через два уже накрапывало, ещё через час — снова солнце. И так на протяжении всего дня. Со временем привыкаешь. И даже перестаёшь замечать все эти погодные капризы. Несколько раз мы поднимались на ближайшую сопку. Уф! Просто капитанский мостик. С самой верхушки было видно, как где-то там, в долине ползёт поезд, а с другой стороны — в море — стоят рыбацкие судёнышки. И воздух прозрачен и чист. А то вдруг загустеет и, кажется, можно потрогать, взять и запрятать в горсти. Под ногами струилась мягкая гусиная травка, кедровый стланик и сотни, тысячи полевых и горных цветов. Жёлтые, красные, белые горошины рассыпались под порывами ветра. Мы — на вершине мира! Ну кто бы мог подумать, что эта вершина так необходима человеку, чтобы понять его собственную мелкую сущность. Вот оно — чудо творений Господних, и ты сре-

ди них не первый. Первыми были эти скалы. Пока ты карабкался из пучин морских на сушу, тебя уже опередили исполинские сосны, которым ветер жестоко заломил руки. Так и живём — как умеем, как знаем. Тёмные, дикие, редко — просветлённые и кроткие.

Коля что-то озадаченно рассматривал на горной тропе.

— Ты чего? — слюбопытничала.

— Иди сюда. Видишь, следы. Вроде бы собачьи, — напряжённо продолжал изучать довольно глубокие отпечатки чьих-то лап.

— Да откуда же здесь собаки?

— Сам не знаю.

Органически не переношу какую-либо живность с когтями и зубами, особенно собак. Готова мириться с кошками, но с этими четвероногими друзьями человека — никогда!

— Ты уверен, что она была здесь недавно?

— Уверен. Видишь, следы совсем свежие.

Махнула рукой и покатилась вниз с чётким намерением собирать вещи. Но не тут-то было. Нос к носу я столкнулась с ней — огромной, чёрной, жарко дышащей СОБАКОЙ! Уставились друг на друга, и ни с места! Пока мы так стояли, на тропинку выскочила ещё одна — поменьше.

— Ко-ля! — заскулила я.

Собаки на поверку оказались мирными, но очень голодными. Вечером их накормили ухой, дали конфет и чаю. Они благодарно виляли хвостами, разлегшись неподалеку от костра. Высохли, обогрелись и начали сторожить. Легли поодаль и четко блюли наши интересы всю ночь. Это была единственная

ночь, в которую удалось выспаться. Утром собак и след простыл. А я отважно попросила Колю — покажи грот, где льды не тают.

— Пошли.

Мы спустились по водопаду и направились в сторону агатовой бухты.

— Раньше, — вспоминал Коля, — мы с Тошкой отсюда тяжеленные рюкзаки тащили, килограммов по сорок набивали агатами, отборными... А теперь — охладел я к камню. Любоваться если только.

Вот мы и любовались, пока он перекуривал на брёвнышке. Камни действительно были чудесные — дымчатые, прозрачные, с затейливой природной вязью внутри. И ни один не похож на другой.

Лёд в гроте все-таки растаял. Видимо, почувствовал, что я иду.

— Карма, — усмехнулся муж.

Просто приливы были высокие. Самые высокие в этом году. Мы же не потрудились узнать об этом заранее.

Потихоньку привыкла, смирилась с мыслью, что слаб человек и малодушен, перестала ковыряться в себе и влилась в общее течение, весьма неспешное — жизни, разговора, созерцания. Увидела, что скалы на самом деле живые. Одна напоминала профиль мужчины — римлянина или грека, чей взор устремлялся далеко, за горизонт.

— Это Тошка, — показал пальцем Коля. — Смотри, у него взгляд добытчика.

Рядом — женский.

— А это Вика, — подключилась я. — У неё взгляд любящей женщины.

Ночью мы остались с Колей вдвоём у костра. Перед глазами вставали самые разные картины: обезьянья голова, охраняющая подступы к жуткому гроту, чуть дальше нашей бухты. Недавно там погиб мальчик: прилив был бешеный, и он не успел добежать до песчаной полосы. Журчащая горная речка, прыгающая по перекатам. В одной из ложбин мы устроили японские бани. Забираешься в выдолбленную водой ванну, а сверху горный душ. Вспоминали рыбалку Тошкину. Как он мастерски подсекал в море рыбу, когда та косяками ходила вдоль берега, спеша на нерест. Раз-два, рыба на берегу. Все радуются, фотографируются с пойманной серебрянкой. А Тоша опять в море. Правильно Коля сказал — добытчик.

— Глянь, какое небо! — запрокинул голову Коляша.

Будто шатёр раскрыли. Мириады огромных, как черешины, звёзд. Между ними проблескивали спутники, которых нынче тоже несчетное количество. Когда-то в армии Коля занимался проводкой спутников. Хорошая же у него была служба! Звездочёты тогда на вес золота были. А у него за плечами обсерватория. Вот и теперь он азартно называл созвездия, которые удавалось опознать.

Это место прокалило меня. Мы собирались. Ребята оставались ещё на день. До воскресенья. Мне же в понедельник на работу. Всё-таки как тянет домой! Мы собирались, а внизу шумел утренний прилив. Ну вот опять. Пешком по воде.

— Самое сложное, — наставлял Коля, спускаясь в последний раз по водопаду, — обойти эту скалу. Ты же видела, как здесь мелко во время отлива.

Через полчаса мы уже легко вскарабкались на Лисий мыс (так я и не увидела ни одной лисы), через час уже входили в Пугачёвские ворота. Ноги сами несли меня домой. Ещё минут сорок по дороге до родника. Перекур. Ещё минут двадцать до железки. Перекур, здесь же перекус. Последняя баночка сайры с луковицей и чёрным хлебом — вкуснее и нет ничего! Потом ещё минут тридцать по шпалам. Снова перекур. И последний рывок — до станции. Подошвы горели. Но подумаешь — подошвы! Мы едем домой! Пять часов в поезде с обязательными пирожками во Взморье. И вот тёплым июльским вечером мы, наконец, вваливаемся в собственную квартиру.

Напилась воды. Простой магазинной воды.

— Не фонтан!

А Коля уже включал телевизор и радио. Слава Богу, ничего страшного в наше отсутствие не случилось. Слава Богу!

Дерево

Дерево спилили... Надо же, и до нашего добрались! Столько лет бок о бок, пообтёрлись, попривыкли. А сегодня в окно глянула — нет никто. Как будто и не было. Ну додумались же — спилить дерево в октябре! Живёшь себе в тепле, а пеньку-то холодно, он-то, чай, не помер ещё. Колышутся ещё глубинные соки. А как же — известное дело, дерево не верхушкой живет, а самым что ни на есть корнем.

Летом, бывало, выглянешь с балкона, а там!.. Воробушек — чик-чирик! Перекатывается с ветки на ветку, пёрышки чистит, головкой во все стороны крутит. Чик-чирик, чик-чирик — с семи утра, а то и раньше! У них, у воробьев-то, день рано начинается: покуда воронье спит, выглянут из запрятанных гнёздышек, подставятся под солнышко, греются. Чирикают, но не звонко, а так, шёпотом, чтобы голубей под балконом не разбудить. Те тоже, супостаты, добра от них не жди, враз шею намылят. Вот и перешёптываются. Как начирикаются, так семечку какую ухватят, благо — де-



рево, мать кормящая. Мы по воробьям летом время определяли. Проснёшься — солнце утреннее в окно бьёт, спать не даёт. А дерево-то и заслонит. Воробушки о своём, а мы с мужем о своём щебечем. Так и пролежишь часов до десяти, если выходной. А в будни на работу поднимут лучше всякого будильника.

Помню, долго мы пытались выяснить, что это за дерево такое, пока приятель-геолог не просветил:

— Ясень, — говорит, — это. Маньчжурский ясень. Редкий гость.

Мы с той поры еще больше наше дерево зауважали. Надо ж, забросила судьба такого красавца в наши края. Почитай, ещё со времен японцев стоит. Тогда домики маленькие были, деревянные. На фотографиях посмотришь — чёрные! Прячутся за спинами молоденьких саженцев. Кто ж знал, что маньчжурцы-то? С той поры их мало осталось — всего-то штуки три. А наш — особенный: высокий, стройный, крона, как шатёр. Бывало, стучал в окно. Так это ж в холод, мороз лютый, в пургу да в дождь. В такую погоду на улице кому хорошо? Вот и он в дом просился, обсохнуть, согреться. Листьями шевелит, бормочет на своем ясеневом языке чего-то. Мы уж перед ним извинялись, прощенья просили, мол, прости, брат, а конура наша не в твой рост. Жалели его. А как же, друг ведь. Ветки однако спилили. Те, которыми жестянку с крыши поднимал. От ветра, не со зла же. А так ничего, мирный был.

Зимой, в феврале, синицы прилетали, тенькали. Мы им кормушечку сладили, на балконе подвесили. Думали, воробьиная кормушка будет. Да те обленились вовсе, или

перепугались, в кормушку лезть не хотят. А синички ничего — нырь-нырь. Пшено смёрзнется, мы его водичкой размочим, жуют. У поползней клювики длинненькие — тюк-тюк — и натюкают завтрак по крупинке. Дружные такие, все парочками прилетали. Одна на дереве сидит, головкой туда-сюда крутит и товарке тенькает, мол, нет никого, ешь! Та и наяривает. Потом меняются — тюк-тюк, тень-тень. Заглядишься на них, залюбуешься!

Как сумерки сгустятся, гоголевские картины в окне стояли. То луна в ветвях застрянет, глазом ведьмачьим зыркает, то листва зашумит, завздыхает дерево, будто леший обход владений делает... В общем, не скучно нам с ясенем было. Ещё б лет сто простоял, не одних нас пережил... Да нет теперь ясеня. Спилили маньчжурского, редкого. По санитарным нормам не соответствовал — слишком уж близко к дому подошёл. А я так думаю, на ручки да поделки разные пустили. Древесина-то ценная... В общем, думали-думали, бились-бились, а правды так и не доискались. Кто говорит, новые деревья высадят, кто просто молчит. Только воробушков больше тут не водится. Синички прилетят, совсем беда будет. Не знаю, что и сказать им. Куда дерево дели?!. Ветки по земле разбросаны. Скорей бы снегом скрыло... Не уберегли.

Мы теперь хомячка завести подумываем. Муж на рынок каждый день бегает, покупку будущую высматривает. Видел раз какого-то особенного — джунгарского. Красивый, говорит. Загляденье. Я его на картинке как увидела, загорелась — маленький, пушистенький, что тебе птенчик. Пусть себе в доме копошится, семечки грызёт, всё-таки — жизнь.



Кольцевой маршрут

Анархистка

Бессмыслицы, в которые человек играет, тем и хороши, что сама жизнь смеётся над ними. Что бы ни орошало душу тёплым дождём благодарности и счастия, ничто не заменит этой привычной игры. Социум воспитал нас, религия вскормила, время не замечает нас. Каждый день и час становятся истинной ценностью, когда вера в лучшее и сущее переполняет решимостью постичь всё вопреки всему, даже вопреки времени.

Тайна моя — жизни не стоит, но я храню её, как зеницу ока, ибо смысл её первостепенен, а всё остальное приобрело оттенок вторичности и окружено забвением. Где найти силы, чтобы исполнить всё, что имеет значение? Воспоминания мои превратились в растиражированные картинки. Жизнь моя вырвалась за пределы бессмысленности, и ей не нужно ничего земного. Кто бы рискнул поступиться жизнью ради ближнего своего, который не ел с нами за одним столом, не пил из одной чаши, не разделил ни дня наших мытарств. За сохранение тайны отдаются жизни. Ближний наш, конечно, не виноват в том,

что мы так усердно бережём её существование, ограждая от людского глаза, уха и вмешательства. Знающий имеет возможность защищаться. Ибо человек человеку по-прежнему остается бревном, и в самые малые минуты счастия своего дает плоды таинственной радости, о которой мы, чужие, ничего не знаем.

У ворот храма каждый божий день толкутся мытари. Слёзы их чисты и наивны. Праздному нечего делать в храме, глухому не прислушаться, слепому не увидеть. Для них пишут уйму книг, из которых они вынесут крохи этого неземного смысла, в котором нет места нашим бессмыслицам. Долг мой — не тяжёлая ноша, а дар, жизнь моя — поиск возвращения этого долга. Нашедший станет счастливейшим.

Туристам прощают всё: их случайный наряд, их незнание, их пренебрежительное отношение к храму, который по-прежнему считается лишь памятником старины. Смотрите, братия, как усердно молятся о вашем спасении. Как свободны они, как тихи. Они протягивают вам руку, а вы боитесь их, как чумы. Чистые, безупречные, в лайковых перчатках и в начищенных ботинках.

Тайна моя — шарада, которую занесли в невидимую книгу. Игра в смысл. Забота моя — в возвращении долга, данного под великие проценты. Ни один банк не оплатит его. Говорить о деньгах не стыдно. Но стоит только заговорить, как тут же открывает свои двери анатомический театр, где проводят трепанацию черепа марксовскому «Капиталу». Скоро откроется ещё одна тайна и будет объявлена новая игра. Игра — в честные заработки. Вы в них ещё верите? Блаженны помыслы ваши и да пребудут они с вами.

Великие комбинаторы умудряются продать право на игру в золотой дождь. Похвально. Ново. Стремительный золотой поток, как лихорадка, гонит температуру напряжения по многочисленным широтам земного шара. Скоро, очень скоро нужно будет делать кровопускание этому величественному подростку, в лице которого выступает наше наивное, чистосердечное общество. Собирая наклейки, отрывая этикетки, коллекционируя пробки, крышки, банки, обёртки, у нас всегда есть шанс выиграть приз — наручные часы или самокат. Катитесь, не застудитесь. Бессмыслицы довлеют над нами. Сказка о русской халяве живёт и процветает. Купите сегодня, а не то потеряете завтра. А у стен монастыря снова останавливается экскурсионная группа, фотографируя, интересуясь, ставя свечи перед каждой иконой во дворе, а в храме замирая от недоумения: именно здесь происходит главное — люди спасаются.

Тайна моя отворяет. Монастырский покой и уют наполняют жизнь новыми силами. Знание — защищает, но уже не нужно защищаться. Стоит только отдаться в руки этого нового знания, и все бессмыслицы рассеиваются. Мир праху их!

Древний лик Богоматери, зацелованный просящими, пребывает в вечной скорби и радости. Глаз не оторвать, жизнью не измерить вечного этого страдания. Краски померкли, но свет струящийся жив.

Звонарь спешит через подворье монастыря. Служба скоро. Безъязыкие и неутолённые в речи колокола вдруг снова заговорят после столетнего молчания. Спешит звонарь, а у ворот снова — анатомический те-

атр. Кто только не ставит подножки неофитам: «Туда не ходи, сюда ходи». И уходят. Мир праху вашему!

Я мало что понимаю в социальных играх, но старательно учу правила. У меня в запасе уже несколько тысяч вариантов. Я освоила принцип домино, двойной колоды и ставки на двойное зеро. Плохо получается забивать «козла», попадать в яблочко и ходить по канату с закрытыми глазами. Неумелый игрок выбросит деньги на ветер, хотя сделает прибыль умелому хозяину. Лежачих стараюсь не бить.

Как свечи поднебесные, стоят по всей стране храмы. Обойти их все — жизни не хватит. Разорённые, глухие, безъязыкие, разрушенные и заново отстроенные, с богатым убранством. Что вы, милые деревянные домики, против великих соборов? Тайны чьего-то подвига. Имён не помним и не спрашиваем. Есть истины, но есть и откровения. Что между ними жизнь человеческая? Побрякушка, начинённая песком. Песок высыпается, и плавят новую игрушку, чтобы дать её подростку, жаждущему развлечений. Агу, маленький!

Так где же будет сила храниться, как не в тайне нашей? Так в чём же долг, как не в пути нашем? Что мы за сила такая, если будем оторваны друг от друга?..

Читали новую афишу? «Сегодня даётся последнее анатомическое представление, где один сумасшедший разоблачит другого в его сумасшествии. Спешите все! Вход свободный! Места ограничены». Забавная история. А может быть, это меня сегодня будут разоблачать? Очередь на представление нескончаема. За кем буду? Мир праху моему!

* * *

Теперь уже поздно разбираться, кто был виноват, и почему на бумаге были написаны-оставлены именно эти слова. А писались они довольно быстро: раз — и первая строчка слетела на белесую гладь листа. Два — и целый абзац рухнул в формат А4. Три — и угловатый росчерк упал в угол жизни. Всё. Дело сделано. Можно уходить.

Но что-то мешало встать. То ли дерево, раскачиваемое за окном ветром, то ли непогода, разыгравшаяся в душе. Или просто не хотелось уходить из опустевшего на время кабинета. Здесь всё двигалось, жило своей поправленной и скорректированной жизнью.

Бумаги шушукались между собой, сплетничая о той, что битый час томилась над ними.

— Больная, что ли?

— Да нет, наверное. Грустная какая-то.

— Ничего себе грустная. Неужели нельзя грустить в другом месте. Здесь порядочные люди работают.



— Не шурши. Видишь, у человека — непогода. Понимать надо.

Стопки бумаг. Стопки времён. Архивы, папки, книги. Премированные, раритетные громоздились на верхних полках. Те, что попроще, преспокойно созерцали жизнь с нижних.

— Гляди-ка, плачет.

— Да ну-ты?

— Опять меня закапали, — причитала бумага, присланная не то из профкома, не то из министерства. Ей было так обидно, что на её глянцевое официальное личико падали чьи-то непрошеные слёзы.

— Потерпишь, — урезонивал её скоросшиватель. — Не каждый же день здесь плачут. Сердце-то у тебя есть?

Вопрос в принципе риторический, есть ли у рукописи сердце, а уж тем более — у официальной бумаги, с которой заветными огнями семафорят гербовый оттиск и чья-то витиеватая роспись. Уж сколько их, пущенных на самотёк, оставленных доживать свой век на полках всевозможных архивов...

С самой что ни на есть верхней полки лукаво улыбался толстый, изъеденный временем фолиант:

— Эх, молодость, молодость! Мне бы ваши годы, уважаемая, я бы вам показал, какими словами нужно бросаться, чтобы оставить по себе горькую память. Что вы там написали? Дайте-ка глянуть.

Он чихнул. Чихнула она. Фолиант был несколько подслеповат, потому шлёпнулся на стол, чтобы разглядеть синенькие закорючки. Женские руки мгновенно подхватили его за неровные бока, чтобы во-

дворить на место. Старичок раскашлялся ещё пуще, исторгая из недр своих облако пыли.

— Что за невоспитанность такая? — зашуршала белоснежная дама в вензелях. — Сколько можно кашлять на мое чистое личико?

— Джентльмены так не поступают! — выкрикнул счёт, соскользнув от непомерного чиха и кашля обоих на пол.

Его подняли. Однако женщина вернулась к фолианту. Маленькие, почти детские пальчики переворачивали пожелтевшие страницы, ища дату издания. Старичок задрожал от нежных прикосновений.

— То-то, милая! Листай, листай. Может, и найдёшь что более вразумительное, чем эти банальности.

Книга действительно была древняя. 1902-го года. Со звучным названием «МІРЪ БОЖІЙ». В минуты полного душевного раздрая всегда на голову сваливается что-то, что возвращает к этому самому миру.

Бумаги по-прежнему перешёптывались, телефон, отвернувшись к окну, наблюдал за происходящим и философски молчал. Все остальные отдыхали в отсутствии казённых хозяев, которым были выданы на руки под расписку в качестве госимущества.

Это теперь кажется странным, что когда-то, столетие назад, писательский народец вот так же суетился, создавая свои «Миры», торопясь быть актуальными и востребованными, изучая психологию театра, модных авторов, страницы классики. Но вот именно сегодня понадобилось об этом напомнить. В этот день, в этом году... У книги и у женщины одновременно случился



день рождения. Причём у книги — вековой юбилей. «Что же я могу подарить тебе, кроме долговязого гоголевского “Носа” или “Невского проспекта”? Смешно. Ты мудрее всех нас. И так долго молчал».

— Вовсе нет. Жду, когда ты наговоришься, а вернее — перестанешь нести чушь.

— Даже так?

— Конечно. Что ты понимаешь в справедливости. Только то, что тебе мама с папой напели, да хозяин мой, безумец, наболтал.

— А ты, конечно же, знаешь...

— Попробуй, открой любую страницу.

Открыть, не открыть? А, ладно. Была не была.

«Къ довершенію несчастія мы выросли на одной французской литературе, вовсе не сходной съ нравомъ русскаго народа, ни съ духомъ русскаго языка... Чтобы выразить, надо всё чувствовать; но разве не надобно всего чувствовать, чтобы всё понимать?»

— Но ведь я — чувствую, — воскликнула изумлённая читательница

— Чувствуешь, но плохо понимаешь. А ещё хуже — говоришь.

Фолиант был безупречен в выражении собственного превосходства. Бумаги притихли. Телефон повернулся и вопросительно дзинькнул. Тихо так: «Дзинь?»

— Неужели всё так запущено? — улыбнулась женщина книге.

«Мало, конечно, можно надеяться, но не должно и отчаяваться! Подождёмъ внімательно, что принесётъ намъ поздній вечеръ».

— Мило, — покачала головой она.

— Зато — честно, — прошептал он. Ни одного вырванного листа, только страничные поля немного «подрумянило» время. «Сколько ты мне ещё всего расскажешь, — воображала в это время про себя возмутительница бумажного спокойствия, — вот только бы твой хозяин опять не сказал: “Никогда”. Забавно это у него получается. Теперь, выходит, мне ещё и тебя слушаться».

Фолиант воцарился на прежнем месте. В углу, на второй полке, над всей этой премудростью ехидно посмеивался Тоболяк: «Хорошо сказал!»

Как-то мы с ним летели до Москвы. Его жёлтая (цвет такой подобрали), истрёпанная и чем-то залитая обложка (ну, думаю, нетрудно догадаться, чем может быть залита обложка книги Тоболяка) топорщилась, грозя рассыпаться прямо в руках, так что пришлось приглаживать её мягкие углы. Мы пытались общаться. Он совсем заморочил мне голову, и я чуть не пропустила великолепное зрелище спящего Севера. Из иллюминатора он выглядел как кружевная скатерть: завитушки-бантики. Я несколько дней не могла выспаться (синдром командированного) и старалась сделать это сейчас. На часах — время сахалинское. Из принципа. До Москвы — ещё три часа. Три часа я могла жить в нашем общем времени. А потом — самый длинный день в моей жизни, продлившийся 31 час.

Крутили какой-то фильм, а мы с Тоболяком писали письма: он — туда, я — обратно. За окном (холодное слово — иллюминатор) — бантики-ленточки.



Приелось. В салоне тихий час. Народу мало, так что каждому досталось по три чистеньких синеньких кресла. Можно было вытянуться и подремать. Никто не смотрел через плечо, не дышал в затылок. Только несносный Тоболяк ворчал в ногах, шелестя страницами. Неужели ревновал? На его век наверняка хватило приключений, так что лучше прикусил бы язык.

Но он щербато улыбался с фотографии, оценивающе разглядывая спутницу. «Что, не нравлюсь? — думала она. — Или всё-таки ничего?» «А какая теперь разница», — махнул Тоболяк рукой и задвинулся поглубже в кресло. Хорошо это или нет, что мы так и не познакомились... А может быть, я всё же вскружила б тебе голову. После твоего романа теперь в жизни никак не получается остановиться. Как будто безразлично — с кем, где и как. Так нет же, для тебя это принципиальные вопросы. Ты — эгоист. Дразнишь, задираешь, хлещешься направо и налево. Ты что, подглядывал за нами? Или ты делаешь это теперь?

Молчит. Он где-то там, со своей Маруськой. Бедная-бедная Офелия! Он так её и не дописал. Зачал, как мог, и бросил девушку-дауна в урну. Очень по-мужски и весьма по-джентльменски. Я люблю тебя за записку, оставленную в одной из твоих повестей. Ты обрадовал меня, сказав, что папа всего лишь надолго уехал. Я жду его. Двадцать лет жду. Хотя иногда сомневаюсь, был ли он вообще. Говорят, был.

Телефон не выдержал и снова дзинькнул. Жалобно так: «Дзи-инь...». Счёт спрятал лицо и смачно высморкался — такие суммы полетели вокруг!.. Он снова

упал, и пришлось поднимать бедолагу. Курсистки-рукописи достали платочки и промокнули выступившие слёзы: «Ох! Ах!» Жив брат Карамзин, ей-богу жив. Бедные Лизы давно устали топиться в озёрах, а молодые таланты по-прежнему ведут их за руку к новому обрыву и сквозь сопли и писательский пот командуют: «Топись, дура!» Такая она, любовь, куда тут денешься. Чуть что — сразу в воду.

Пришлось вернуться к оставленному листу, где в формате А4 была изложена благодарность за дружбу и щедрость. Сентиментальные карамзинские слёзы высохли, но оставили заметные следы на репутации ни в чём не повинного листа. Раз-два, лист летит в урну, где его с радостью принимают собратья: скомканные черновики, расчленённые визитки, вырванные блокнотные страницы и прочие острожные завсегдатаи писательского и коммерческого быта.

«Значит, говоришь, “подождёмъ внімательно, что принесётъ намъ поздній вечеръ”. Хорошо, подождём. Бумага терпит».

Худощавые курсистки-рукописи зааплодировали, встревоженные обладатели премий заёрзали на полках, счёт, обезумев, засвистел, сунув в рот чуть ли не все свои тысячи, фолиант закашлялся, попытавшись крикнуть надрывно: «Бис!». И только телефон промолчал...



Прекрасные нечестивцы

Руководство по эксплуатации

Правило номер один. Если хочешь быть запечатлённым в какой-либо истории, не присваивай бессмысленно чужой горький опыт. Платье, однажды уже сшитое по чьей-то мерке, никогда не придётся впору тебе, ныне здравствующему, полному решимости уместиться в этом экстравагантном фасончике.

Нет, ну какой же ты непослушный. Всё же надел, примерил. Ну, как, по плечу? А это что за прореха? Да-да, вот здесь, подмышкой. Право, это жирное пятно совсем тебе не к лицу. Здесь немного жмёт, а правый рукав короче левого. В общем, ради всего святого, разоблачайся немедленно. Неужели же мы, подпольно взлелеянные тобою писаки, ни на что уже не годны? Неужели мы не в силах сшить для своего дорогого читателя подобающее платье? Извольте.

Правило номер два. Умело выбирай портного, такого, который видит тебя издалека, но вблизи

оказывается слеп и послушен. Конечно, никогда не знаешь, чего от него ждать, но, поверь мне, он всегда умело подберёт фасон и лучшие ткани твоей подслеповатой эпохи, бессмысленно расточающей нити, любовно занимающейся ткачеством исключительно лёгких материй.

Правило номер три. Будь добрым клиентом, не забывая о том, что ты всё ещё пока хозяин. Достойно плати по счетам и обязательно располагай сведениями о прибавке. Модельерам нравится, когда их труд оценивают пристойными суммами, гарантирующими светский разврат, инкрустацию челюсти и реанимирование видавшего виды желудка.

Таковы правила поведения при воплощении терзающих тебя и меня замыслов, а также смелых прожектов, которые являют собой простую аксиому: дважды два равняется, к сожалению, пяти, а прямую можно провести только в обход сложившихся представлений и бытующих в нашей среде нравов.

Краснощёкий Элиот

Не знаю, когда это началось. Видимо, не узнаю теперь никогда. Поставить точку в самом начале, считая, что финал дописан, — мудрое решение заранее известного сюжета.

Так получилось. Я упала. Падала бесконечно, как мне показалось. Но всё же упала.

Я — преподаватель, училка, стесняющая человеческие судьбы попыткой привить им каплю гар-

монии, содержательности, милосердия. Ни один из моих учеников так и не понял, в чём заключается трагедия Мастера. Есть только их, личная, не понятая, ученическая, обязательно вселенского масштаба трагедия. Внутренние проблемы. Из огня да в полымя. Из жизни — в вечность с накрученной на шею удавкой. Как хочется быть великим, не сотворив на Земле даже пародии на жизнь.

. . . . . .

— Будешь моим сотрудником? — вопрос не начальника — подруги.

— Конечно, сколько за это платят? — молодой человек с «ирокезом» на голове стал не на шутку серьёзен.

— Тыщу, полторы. Но придётся сменить причёску, — ставлю условие, хотя понимаю, что этот вряд ли его выполнит.

— Ладно. Будешь учить нас с Варей жизни.

— Постараюсь, но не обещаю. А вот работать придётся.

(Что-то слабо верится мне в эти скоропалительные мирные договоры, особенно сейчас, когда тебя ломают за какую-то тыщу. Хотя тоже деньги — для студента-первокурсника.)

— О'кей! Когда развалю тебе всё, что можно будет развалить, уволишь меня без зазрения совести.

— Шутишь? — пугаюсь, готова идти на попятную.

— Не-а.

— Дурак.

— Возможно. А чё делать-то?

— Дырки зашивать, — обиделась, а почему нет? Я ведь серьёзно предлагаю работу, почти что нанимаю. Разве проклятые капиталисты при этом шутят... Ничего не смыслю в психологии деловых отношений.

— В смысле?

— В смысле — работать с информацией, точнее — потрудиться над имиджем дохленькой газетёнки.

— Чего? — в глазах недоумение и маленький такой смешок.

— Чего придётся, — вывел-таки из себя.

— Пиарить*? — попал в точку.

— Ну, конечно. Кто сейчас этим не занимается?!

. . . . . .

Да простит меня читатель, что я по непонятным причинам держу его в неведении, отступаю от норм причинно-следственных отношений и схем, не называя имён, но это, собственно говоря, — лишнее. В нашей жизни имена — лишнее. А вот, мол, Татьяна сказала, да Андрей не так понял, Михаил Сергеевич хотел, а у Степана Аркадьевича не получилось. Да и пошли они все. Вы-то знаете, что выбора нет, и приходится мириться с тем, что нас окружает. Пытаемся любить то, что дает жизнь, лепя заново себя, свою судьбу и т.д. и т.п. Ремесленники. Корректируем то,



* *Пиарить — формировать общественное мнение, рекламировать, выдавать чёрное за белое, короче понимайте, как хотите, но главное в этом деле — игра, за которую платят хорошие деньги. Если, конечно, игра идёт по-крупному. За мелочь лучше не браться — испачкаешься больше. Говорят, без пиара нынче даже кошка мышей ловить не станет. Может быть, она и права. Один совет — старайтесь, чтобы наши киски не сделали из вас аппетитных мышек.*



что Господь выпустил из внимания. Благородство — это пить чай из кружки с отбитой ручкой, не замечая её отсутствия. Вот это благородство. Но ведь и кружке-то — неприятно. С отбитой ручкой...

. . . . . .

— Прошёл слушок, что давали...

— Ничего не давали, — гневный взгляд, брызжущее во все стороны негодование, чувство усталости. (Боже, как часто мы стали уставать. Ещё не родившись, даже не пройдя половины пути. Что с нами делают?)

— Слушай, я не знаю, зачем ты напрягаешься за две сотни, — коллега (прошу обратить внимание, всё-таки коллега — после долгих уговоров сменить имидж) пытался сформулировать никчемность моих физических и прочих усилий, которые я благородно, без трепыханий, приносила во славу российско-советского образования. Люблю его (образование) до безумия. С ним и помру — от инсульта или от голода, но... С качественным российским образованием.

— Очень хочется доказать... — бесплодная попытка выпятить грудь от гордости за родную науку.

— ...что ты — дура? — в лоб, не смущаясь, без зазрения совести. Просто и со вкусом. Хороший у меня коллега.

— Ну, да. Наверное, всё же — с мозгами? — соглашаюсь на все сто, опуская руки.

— Вряд ли, — горд, горд собой, голубь мой сизокрылый.

— Сомневаешься? — смотрю уже с вызовом.

— Ещё бы. Ты когда последний раз нормально спала...

— Что?

— Спала когда, спрашиваю...

— ???????

— Чего молчишь-то? — хитрый блеск в глазах.

— Позавчера. Что тебе надо? — признаться честно, растерялась. Первый раз в жизни растерялась от подобного вопроса.

— Правду, — он хочет правду. Хорошо, сейчас.

— Какую?

— Ты — женщина?

(!!!!!!!!!?????????????!!!!!!!?????? твою мать!!!)

— Более, чем ты — мужчина! (Что с нами делают — уже доказываем друг другу свою половую принадлежность!!!)

— Так, значит, более чем...

Он в раздумьях — усомнившийся Макар а ля натюрель.

— Перестань. Конституцией мне завещано право на личную жизнь.

— Да ну!

Плюнуть бы, да плеваться не умею.

. . . . . .

Вечер. Все интимные разговоры происходят вечером. Между нами происходил разговор производственный, без всяческой надежды на поправку здоровья. Пили пиво. Ритуал, аккуратно соблюдаемый подростками и их родителями, вошедший в привычку, благодаря рекламе и местному производителю. Пусть

не врут: сахалинское пиво — лучшее в России. В него не добавляют спирт. Поэтому спустя некоторое время хочется исключительно по маленькому. Культурно, в общем. А в принципе, пиво располагает к добропорядочному разговору по душам именно с деловым акцентом. Акценты расставлялись успешно. Пока не подошёл некто в потёртых джинсах.

— Кто такой? — вяло интересуюсь.

— Друган.

— Пшёл вон.

— Был уже, — сообщает третий.

— Ну, и как оно, — пытаюсь скомпрометировать, но, судя по всему, безуспешно.

— В принципе, не больно, но муторно.

— Что за ё-моё? — растерянно смотрю на коллегу.

— Искусных дел мастер — Ванька Конюхов, — резво так отвечает, уважает, наверное. Он, Ванька-то этот, оказывается, ловко заламывает при случае руки и торчит до паранойи от вашего кряхтения. За что и заработал прозвище — Нирвана.

— Как это?

— Зажимает в угол и ждёт, когда отдышишься от первого, потом второй накладывает...

Ванька популярно излагал все прелести милицейского обезьянника. Пиво кончилось. Может, перейдем к чему-нибудь... Покрепче?

Ага, вопрос услышан. Блин, подслушивают мысли. Ещё несколько градусов сверху, и начну читать что-нибудь из классики. Всегда заставляют. Даже когда штопор попросишь, приходится отрабаты-

вать — стихами. Выбираешь такие, которые быльём поросли, заржавели, пахнут пылью и нафталином, но. Всё равно к месту. И пить очень хочется. И не пишется. Когда пишется — ни глотка. На работе — ни глотка. Вечером — ни глотка. Так же можно и сорваться. Срываюсь.

— Ну-ну, и что там Иван? Мочит всех. И тебя...

У нас уже обнаружился нескромный сюжетец типичного милицейского содержания да с таким размахом, что не успеваю воспринять его внезапные повороты и выворотни, без которых наша доблестная милиция выглядела бы жалкой потасовочной организацией, прорабатывающей килограммы и километры алиби.

— Покорректнее, дамочка, — предупреждает. Умница.

— А я, между прочим, не напрашиваюсь. Ты отвлекаешь нас от производственных дел.

— Это каких?

— Да, вот, — киваю в сторону коллеги.

— Понял. Пень, ты чё не сказал, что ты с дамой!

— Да... — пни обычно молчат и разводят руками.

— Понял. Укатываюсь.

. . . . . .



Ничего себе такой товарищ. Курит прямо в лицо. Пуп, правда, ещё не придумала чего. Земли для него многовато. В мелких масштабах смахивает на крысу, а ведь мой студент.

Никогда не наблюдали процесс братания «молодых при исполнении» с «молодыми в увольнительной»? Какая жалость. А вот мне доводилось. Острая опасность потери авторитета и лёгкое покачивание в сторону продвинутого педагога. Шаг, второй. Опа! Не ждали, а я вот она, нарисовалась.

Не знаю, каким образом, но мы уже едем в плюгавенькой маршрутке, со всей, непонятно откуда взявшейся, компанией в неизвестном опять же направлении. Выйдем, где Бог подскажет. Хотя, нет. Всуе — не сметь. Должно же хоть что-то святое остаться. В итоге оказались на кладбище.

Если говорить начистоту, то это уже притча во языцех! Она достойна того, чтобы задержать на ней внимание. На Сахалине кладбища размещают в самых живописных местах — компенсация за бесцельно прожитое, наверное. Старое, южно-сахалинское, расположилось довольно удачно: медицинский колледж, больница, морг, а дальше — последняя остановка. Безотходное производство. И халаты — сплошь беленькие. Летом здесь очень красиво. Зелени — по колено, кому по пояс, пока не сожгут. Святое место. Здесь хорошо отдохнуть. Ну, не надо морщиться. Поверьте мне, самые лучшие элегии создавались именно на кладбищах, средь гробов и полуразрушенных часовен. Конечно, в моё время еще никто не подумывает о часовнях, но вот об элегиях — вполне. Частенько встречаются задумчивые граждане с упоённо восторженным выражением лица, вдохновенно выписывающие

на холмиках смелые зигзаги закорючек. Поэты, с пробитыми черепами, помятыми лицами, смелыми взглядами и туманным прошлым. Каждый — с претензией, выражаемой громкохрипящим голосом, но всё равно, знаете ли, как-то невнятно. Трагедия, рождённая из духа цивилизации. Жизнь кончилась, не успев начаться. Бедные местные жители. Ну, нигде не оставят в покое.

Вот и мы приехали поговорить о своем, сначала шёпотом, чтобы никого не потревожить, с только что откупоренной бутылкой «Анапы» — семнадцатиградусного пойла, подгоняющего мысль нечаянным, но желанно приторным теплом. Каждый, отхлебнув по глотку, старается быть ранимо испорченным, неказисто перевёрнутым, чуть-чуть ушибленным жизнью в самых интимных местах. И в самом деле, разве у человека бывают другие места?

Помнится, был у нас поэт. Странный такой. С бредом. Бредил восторженно, убедительно, толково. Кропотливо записывал всё на бумагу. Как он сохранился, одному Богу известно. (Ну, вот опять.) Вел кочующий образ жизни, задерживаясь время от времени на какой-нибудь из трёх своих станций: дома, в квартире друга или в наркологии. После очередного выхода из лекарственной депрессии клятвенно уверял собратьев по разуму, что, мол, теперь, без всяких — крепко-накрепко — завязал. А потом опять — творческий запой переходил в обыкновенный: полкилограмма бреда и срочная адаптация организма в условиях её, родимой, стало быть,



наркологии. Что там и как, честно говоря, не знаю. А поэт хороший, стопроцентный, качественный.

. . . . . .

Предыдущие строки пришлось удалить во избежание длиннот и неоправданных лирических отступлений. Сдаётся мне, что художественность повествования безвозвратно канула в лету. Очень сложно говорить на качественно новом литературном языке. Между собой мы предпочитаем просто не материться или, во всяком случае, делать это с уважением к дамам и возрасту. Существуют же и аксакалы, которых уважают за количество выпитого и услышанного.

Один из них как раз взял «Анапу» и прежде, чем опрокинуть в себя очередные «сто-сто пятьдесят», готовился произнести речь. Внимательно посмотрел на всех присутствующих, перевёл взгляд на меня и вдруг, в одно мгновение поставив бутылку на локоть, легко вскинул её к губам и — затяжной прыжок — выпил добрую половину:

— За тебя, красавица! — тост, значит, сказал, утерев рукавом обветренное лицо.

— Почту за честь, — улыбаюсь.

— Ну-у-ссс, дамы выбирают кавалеров! — предложил он, и чёртики запрыгали в его глазах.

— Дамы платят, кавалеры — выбирают, — поправила я, намекнув на исчерпанность единственного согревающего средства. Здесь нужно пояснить: в современном обществе редко найдется благосостоятельный хиппи. Это горстка отщепенцев, которым в облом

зарабатывать на хлеб. Да и зачем, когда вокруг пруд пруди несчастных учительниц, готовых заплатить за любые мужские капризы, лишь бы обратить на себя их рыцарское внимание.

Аксакал не понял и стал демонстрировать свою нежность, предлагая посидеть у него на коленях.

. . . . . .

Вороны медленно и лениво поворачивали головы в сторону гомонящей компании. Следили за происходящим, ища место для отступления. Вороны — живые мишени. Обычно в них кидают опустевшую тару, реже угощают остатками печенья или сухарей. Они умеют нравиться, и им это известно. Потому и не спешат они улетать от публики, даже если придется заплатить за это переломанным крылом.

— Э, смотрите-ка! — наконец-то оторвались от бутылки.

— Чего ты, Муха?

— Луна стала красной!

— Да ты, малый, перебрал. Мухе больше не наливать, а то он завтра лекции проспит.

— Ага, еще завоет на луну посреди пары.

— Братцы, да вы гляньте — она и в самом деле красная...

Через несколько минут уже читали Элиота, оставив литературное краеведение на утро.

Треснула ветка — это грузный ворон примостился рядом. Что-то клокотало в его горле, что-то, что невозможно выговорить, понять, перевести на язык Бо-

жеский, тем более — человеческий. Мы с ним одни: он и я — на чьей-то могиле. Каков ты был, человек, что люди забыли даже написать твое имя. Хорошо, что ещё догадались привинтить фотографию. Видимо, по доброте душевной. Весь мир — «пиар» (прости, Шекспир)! Продаем, покупаем, рекламируем, формируем... ах, да, ещё, конечно же, зарабатываем. А что в результате? Фотография. Без имени. Следствия. Убеждений и талантов. Одна фотография, с которой смотрит молодой, задорный парень, будто выпытывает, кто ты, случайная гостья? Мы не знаем друг друга и никогда теперь уже не узнаем. Кончено.

. . . . . .

С кладбища каждый уходит своей дорогой. Никто никого не окрикивает, поскольку всегда существует опасность нарваться на милиционера, который любит от скуки отпинать какого-нибудь бедолагу ни за грош. Мне никогда не приходилось убегать, прятаться в провалившихся могилах. Не вызываю подозрений. Учительница. Иногда навеселе — что ж, пришла проведать умершего родственника, перебрала ненароком, бывает. И неважно, что третий час ночи. Иногда страдают и по ночам. Женщины — разве их поймешь? Хотя мои сверстницы иногда попадались. Не та фактура — студентки, молоденькие. Дуры, которых совесть уже не просит, а требует остановить. Понимаю, товарищ милиционер, твою отеческую заботу. Да и холодно одному-то на кладбище.

Вот и в этот вечер-ночь я уходила одна, без приключений. «Анапа» стопорила шаг, но голова была морозно светлой. До дома дойду. Что у меня там завтра? Варя, Пень, газета, лекция. О, а по кому лекция? По краснощёкому Элиоту. Заморозили тебя сегодня, друг. Неблагодарный они народ, студенты. Читают тебя, где придётся, но ты ведь не в обиде? Где наша не пропадала — пусть хоть на кладбище, но ведь читают, а, брат Элиот? Пусть едва ворочают языками, но ведь читают. Ты — Мастер, хотя им плевать на твою трагедию. Ну, ничего. Ничего. Пусть читают. Ведь это главное. А луна действительно была красная. Луна, похожая на солнце, и не в небе, а на этикетке. Семнадцать градусов, «Анапа» — бархатный сезон!

Потешная Женщина

Без двадцати пяти восемь. Начался отсчёт нового измерения. Теперь меряются слова — точками и запятыми, порою многоточиями. Нет, чаще многоточиями.

Моя случайная знакомая курила одну за одной в фешенебельном туалете, выдыхая с кольцами дыма (профи!) прошлые обиды и мелкие недоразумения. Последние давались ей с трудом, поскольку имели обыкновение застревать в горле, цепляясь за возможность жить внутри, а не снаружи. Недоразвитые, почти эмбрионы. Как не хочется на свет Божий. Но нет. Терпеть едкий дым куда невозможнее, чем появиться на свет. Появляются: одно за одним — недо-





разумения! Неуразумения. Невразумения. Капризные дети безутешных родителей.

Знакомая — потешная женщина. Она потешает, утешает, тешит. Это её святая обязанность. Вполне женская. Благородная. Счастливая. Пусть мужчины кинут в меня камень, если это не так.

Сегодня надо было утешать её саму. Кто-то что-то ляпнул, и вот, пожалуйста. Истерика крепостью в сорок градусов плюс пачка сигарет. Она нуждалась в слушателе.

Колечки дыма кружились под потолком, а я уже под завязку была набита её квалифицированными недоразумениями. Фактами и событиями. И ещё, конечно же, упрёками в мой собственный адрес. У нас, у женщин, всегда крайней остаётся та, которая моложе. Даже если ты не виновата, будь любезна, повинись. Слушаюсь. Вино-ватюсь. И снова слушаю.

Она закашлялась. В этом месте началась притча о возвращении блудного сына. Или дочери? Кто к кому вернулся из небытия, сказать сложно. Всё настолько запущено, что остаётся только покорно внимать. Эти двое тащат за собой на привязи безмерное количество народа. Их уже даже не двое — их трое, четверо, пятеро... В конце концов, под общим знаменателем оказывается половина мужского населения города — с её стороны, и ещё одна, добрая половина, женского — с его. Великолепно: «Скованные одной цепью...», — так когда-то предупреждал со сцены Бутусов.

Колечки завивались. Без десяти восемь. Я на какое-то время выпала из реальности, а она уже, оказыва-

ется, вот-вот сорвётся на крик. Слушать становится неудобно — не выношу дидактику и диссонансы. Ох, мама родная! Спасибо за вживленные деликатность и такт. Знакомая напрягается. Понимает, что её горловое першение начинает терять для меня всяческий смысл — избито, сюжета нет. Ужаса нет, поджилки не трясутся, электричества в колечках не хватает.

Без трёх восемь. Зашел разговор о материальном — не вернуться ли в номер: стол накрыт, мужики всё съедят. Ой, простите, выпьют. Не тут-то было. Женщина, роняя пепел, достаёт новую, целенькую ещё сигаретку. Просит прикурить. На, родимая.

Восемь. Действие стало развиваться довольно динамично. Появились жесты, блеск в глазах — это о себе, любимой. Ни слова о нём. Кто такой, и сколько было обидчиков — неважно. Главное были. И ломались, как сигареты. И выкуривались... Тушились и тут же выкидывались в урну. Некоторые предусмотрительно прятались в сумочку. Те, что подороже, попредставительнее. «Один из» сейчас сладко спал на лестнице, набравшись в сыропустную её, родимой. (И это ещё только ожидание праздника. Что же будет на Пасху?) Вьются колечки. Глаза тускнеют. Устала сама от себя. Потом вдруг опять вскакивает:

— Знаешь, что?

— Нет, конечно. А что?

— Да нет, это я так, — отступает на безопасное расстояние и на всякий случай производит осмотр. Едва заметный со стороны. «Обувь — так себе, такую сейчас не носят. Ноги — на четыре с минусом или на



три с плюсом, фигура — рыхленькая, но пока молодая — сойдёт. Личико... если бы не взгляд, если бы не глаза... Сколько же надо в неё (в меня) влить, чтобы этот взгляд не призывал, не вызывал, потух, в общем? Блондинка. Интересно, химия или свои так вьются? Глаза и волосы. Что-то ещё? Ах, да! Душа. Наверное, есть душа. Молчит, не возражает. Жалеет, что ли? Кто её просил! Где он её нашёл?»

— Идём?

— Нет, стой. Дай зажигалку.

Колечки вьются.

Десять минут девятого. Стучат в дверь:

— Девочки, вы живы? — ох, и голосок. Елейный, мышино-серенький, скребущийся.

— Вполне. Отстань! — рубанула. Ничто не может отвлечь женщину от самой себя. Когда она начинает заново раскапывать рудники своей памяти, мир идет прахом. Гори все синим пламенем. У нас свои проблемы.

— Э-э-у-м... (быстрее соображать надо. Такой шанс упустила, идиотка. Закольцевала она меня).

— Понимаешь, я ведь ничего плохого не хотела. Так получилось. Я жила, как могла, как умела. Но я жила! (Кто бы сомневался.) Какая разница с кем. Ты попробуй их всех.

Дальше последовала эпоха сравнений и классификаций. Сначала мы отведали «холодных закусок». Об этих вспоминают редко. Это что-то вроде одноразового шприца — применяется по необходимости. Подвезли на машине, встретились в поезде, вместе танцевали на школьном вечере. Надо же с чего-

то начинать, а иногда — и закусывать. Потом были «первые блюда», постепенно перешли ко «вторым»: мужья, любовники, продолжительные встречи, тайные желания. В этом есть хоть какая-то польза. Даже, скорее, основательность. Просыпается аппетит, хочется большего... О «десерте» молчит. Бережёт. Самое вкусненькое всегда съедается втайне от других. А как насчёт похвастаться?

Хвастается.

— Мы знакомы, Бог знает, сколько лет...

Сдержанно, без лишних эмоций. Кружатся колечки. (Господи, она так всю пачку выкурит!) Вот так, приехали. Теперь-то понятно. Мы просто перешли на новый уровень. Осмотра. Всматривания. Пошла ва-банк. О'кей! Принимаю. Право, становится забавно. Наконец-то появляется электричество. Только бы током не шибануло.

— Неужели уже столько? И вы не надоели друг другу...

— Не успели, — «вот это да! Молоденькая-то молоденькая, а правила знает. Не раскалывается» (я не раскалываюсь, значит).

Прикрываюсь интеллектом, вспоминаю Маканина. Держа оборону, съезжаю на разговор о «совке» и андеграунде. Получается. На время удаётся запудрить ей мозги. Какая жалость, она не читала. Бедненькая моя, тебе некогда читать. Дети, мужья, мужчины(-а)... Конечно, разве поспеешь. Не, пришла в себя, выкручивается. Сейчас ручки начнет заламывать. Ладно, валяй, я готова.

— Вы дружите? — включила миноискатель.



— Понятия не имею. Смутно представляю сущность подобных отношений... В общем, нет.

«Девочка врёт. Пусть врёт. У меня (у неё) опыт. Мы знакомы столько лет. Неужели решится? Нет. Эти глаза... Душу вынет, если захочет. Наверное, уже многому научилась».

Вьются колечки. Вырабатываем статическое электричество. Скоро, уже скоро она либо поперхнётся ими, либо перестанет валять дурака.

— Девочки! Мы скоро, — слышится в коридоре. Ясно. Пошли за добавкой.

— Да, идём же! — нетерпеливо отвечает на шум собеседница. Не прерывайте женщину, даже если умираете. Вот помрёте, кричите, хоть во все горло.

— Нехорошо. Мы тут, а они — там.

— Подождут. Сядь.

Мои попытки вырваться из табачного плена пресечены на корню. За дверью кто-то тихонько ворчал и пытался материться. Уборщица. Ей не нравится, когда в её законные часы шастают по коридорам, дымят в туалете. Ей плевать, что жить стало лучше, жить стало веселей. Хотя и дороже. Посетители гостиницы (номера от 20 до 40 долларов в сутки, конечно же, в рублёвом эквиваленте) по-прежнему были для неё командировочными, шляющимися по стране неизвестно зачем. Это вам не валютный пятизвездочный отель, где туалеты располагаются в номерах, и курить можно, не выходя на улицу. Здесь всё ещё общее. Здесь по-прежнему стучат в стенку, когда веселье достигает апогея. Стены капроновые: удобно слушать, неудоб-

но спать. И руководит всем этим общежитием она — УБОРЩИЦА. Святой человек, ставящий всех на свои места, выбрасывающий на улицу мусор жизни. «А и чё, что ночь? Неча назюзюкиваться было!»

Наконец-то заторопилась. Жив ещё страх перед уборщицами, даже в тех, кто всё имеет в виду (здесь должна была появиться не очень литературная фраза, но и без неё, по-моему, всё достаточно понятно). Колечки повисли. В них уже вваливались по старинке клубы дыма, наспех выпускаемые из легких. Недоразумения закончились. Начались умозаключения. Подведение итогов. Выводы мы стали делать из состоявшейся беседы. У каждой — своё на уме. Спасибо, Господи, что миновала меня чаша сия. Обойдусь сегодня без десерта. Подальше от соблазнов.

— Ты меня слышишь? — выдала-таки себя. «Не сдержалась. Но ничего. Один раз можно. Эти глаза... Смотрит, как... Сколько же ей надо?» (Это мне, значит. Вмешиваемся в мысли друг друга, как будто так и надо. Сколько угодно. Лёгкий напиток. Выдержу.)

— Да слушаю я тебя. Бросай это грязное дело, пошли, — уже и я занервничала.

— Ты не знаешь главного...

— И слава Богу! — бросаюсь к двери и наконец-то вырываюсь на свободу. Фу-у-ух! Ну, до чего же сложно быть связанной одной цепью. Бутусов прав. Вдохнула полной грудью. Перед глазами всё плыло. А вот и мышонок. Ты ж моя радость. Спит. Просыпается. Ручки тянет.



— С добрым утром! — зря, но ладно. После разберёмся.

— А где Ва-а-л-ля? — славненький такой. Ух, ты! Едва успеваю поймать за рукав. Мы чуть-чуть не полетели с лестницы. Бывает. Держись. Сейчас будет Валя. Она задерживается, прощается с друзьями. Ну вот! Мы опять что-то потеряли? Сейчас найдём. Эй, кто-нибудь!!!

Десять. Наверху показывается ещё кто-то из женской части компании. О-о-о, спасительница! Передаю свою ношу из рук в руки. Вали нет. Лиц нет. Выбегаю на улицу. Вопрос, кто-то задает вопрос. Ничего не вижу. Еще один знакомый. Добрый такой, ждёт нас и напевает что-то. Увидев меня, становится явно чем-то озабочен.

— А где?..

— А нет. Ничего нет. Да и...

Мчусь по мостовой. Позади — уборщица, впереди — синие сумерки, где-то рядом — неуёмное чувство голода. Знаю, что уже не поем наверняка. Спать хочется. Вали нет. Никого нет. Все. THE END.

Кольцевой маршрут



Иногда я говорю на иностранных языках. Сама с собой. Это удобно. С этикетом мы раззнакомились, поэтому залепить иной раз крепким словцом — да с нашим удовольствием! Говорить, например, по-английски начинаю по двум причинам: 1) есть желание выпендриться; 2) подсознание берет своё. В общем, никакой сверхзадачи. Бурчу под нос разные словечки, даже не затрудняясь составлением какой-либо синтаксической конструкции.

Вслушиваюсь в слова и забавляюсь переводом. Однажды я даже сбилась со счёта, вылавливая в речи домочадцев слово «fuck» и его сочетания с некоторыми личными местоимениями, лишь изредка отмечая полноценные лексемы типа «go», «get», «home», «full», «cow», «dog», «pig», «crazy», «monkey» etc. (дабы не ранить нежные души, опять же использую перевод). Из этого можно заключить, что живу я, предположительно, на ранчо, в самом сердце дикого Запада. (Home sweet home!) Увлека-



ясь подобными лингвистическими играми, ищу себя в списках эмигрантов. Делать это удобнее всего на вокзале. Воздух там особенный.

На вокзалах всегда очень трудно найти зеркало (это недавнее моё открытие). В театрах сколько угодно зеркал, а вот на вокзалах их почти нет. А если и почти есть, то по закону подлости они находятся там, где до них практически невозможно добраться — в платных туалетах. Совсем рядом, из окон гостиницы «Евразия», смотрит сверху счастливый господин с гаванской сигарой в зубах (ну, или на худой случай — «Парламентом») и чистосердечно сплёвывает на твою голову остатки листового табака.

Так вот. Вокзал — мекка безразличия. Здесь либо спешат, либо ждут, коротая день за бутылочкой или чашечкой чего-нибудь. Желание разглядывать себя — отбито. Хотя в киосках со странной настойчивостью продают шампуни, кремы, мыло на любой вкус, бритвенные принадлежности, разные гигиенические мелочи, собачий корм (для отъезжающих ранним поездом, наверное), крем-краски для волос, ну, и прочую бурду, в том числе и «утренние» (с четверга, по всей вероятности, не распроданные) газеты. Однако я ещё ни разу не видела, чтобы кто-то клюнул на эту удочку благообразности и купил хотя бы зубную щётку. Вокзал — не ресторация и не место для проведения праздничных представлений, как это раньше водилось. Но мне нравится. Люди ходят рядом друг с другом, сквозь друг друга, через друг друга, утратив комплексы, амбиции и милость к падшим. Нередко даже вип-персоны

(слово-то какое!) теряют свою «випповость» и в сутолоке обронят-таки пару-тройку «изящных» словес. Красота! Сочувствуешь, а у самой покой на душе — ты здесь случайно, тебе никуда не надо, просто пришла книжку почитать, чтобы дома не словить очередной, пущенный в голову «fuck».

Почему так хочется именно сюда? Волнение, которое испытывает отъезжающий, и радость, передающаяся мимоходом от тех, кто вернулся, — вот в чём соль. Я уже десять лет никого не провожаю, а, следовательно, никого не встречаю. Устало прихожу на вокзал и ищу зеркало, которого нет, чтобы заглянуть себе в глаза и задать пару вопросов. Совесть обгладывает с ног до головы: расходы и перерасходы, — никаких прибылей. Курить очень хочется. Может быть, даже выпить... Но выпить обойдется втридорога, да и сигареты на трёшку дороже. Конечно, можно затариться заранее, но откуда деньги у эпигона мазохистского романтизма? (Не ходите на вокзалы без особой надобности. Вас дети ждут, любимые станут приставать с расспросами. Зря, конечно, но ведь — любимые...)

После вокзальной медитации неплохо и прогуляться. Вверх по Коммунистическому проспекту добраться до Воскресенского храма. А как иначе? Только так. Идёшь по вечернему городу, через десятилетия не обретённого счастья, к соборному человечеству, пекущему кренделя и булки к церковным праздникам. За несколько остающихся до храма метров уже щекочет сердце и ноздри запах ладана. Его сложно не угадать. Каждый ортодокс впитал его всеми пора-

ми пробензиненной кожи. Каждый. Но много ли этих каждых? Не знаю. Моя Родина отреклась от сынов своих, толкая их на другие весёлые дороги. На все четыре стороны света — железнодорожными путями, воздушными и морскими коридорами, велосипедными дорожками, горными тропами... Построив сотни вокзалов, по дымящимся проспектам Революции или еще какого Славного момента истории Отечественной, проведёт она за руку... Но куда? Надышишься ладаном, как оголтелой свободой, и повернёшь уже к улице Комсомольской, которая, если верить карте, снова приведёт к храму. Только уже не к нашему, а к «ихнему» — баптистскому. По пути встретятся костёл, игрища пятидесятников, языческие пляски, кришнаитские оргии, пара-тройка Свидетелей Иеговы или послушников Марии Деви Христос. А улица-то — Комсомольская! Откуда же такое буйство на её опрятных в прошлом тротуарчиках?

Спускаясь по улице Пуркаева, захлёбываюсь в едком запахе палёной резины: шиномонтаж, стоянка, долгострои, заправка. Что ещё? А, ну да — почта. Отбиваешься во все стороны точками и тире, подавая сигнал бедствия, а вокруг — мёртвые с косами... Сладко тянется над дорожным гвалтом запах свежеиспечённых булок. Те, которые с присыпкой, быстро черствеют, а сама присыпка довольно скоро растворяется в булке. Но это ничего. Только бы пыли поменьше.

Недавно построили развязку на пересечении улиц Пуркаева и Ленина. Давно пора. Надо же как-то развязать прошлое с настоящим. Всё время жить в про-

шлом — утомительно. Но мне по-прежнему в одну сторону — с Ильичом.

На улице Ленина — всё как полагается: спальные районы, университет (учиться, учиться и ещё раз учиться. Жаль, сняли бодрый призыв — ржавчина побила). А дальше — магазины, гостиницы, администрация города, разумеется. Стоят они (мэрия и Ильич) друг против друга, разговаривают.

Улица Сахалинская. Хорошая улица. Тихая. От универмага «Сахалин» до парка культуры (и, между прочим, отдыха) встретишь три ритуальных агентства (Именно три. Достоинства кооперативов по изготовлению гробов и веников подробно описаны классиками отечественной литературы. Потому углубляться не буду. Смерть — часть жизни. Правда — с вениками.) Между делом набредёте на ресторанчик. «Русская кухня» называется. Хороший ресторанчик. Кормят на совесть. Хорошо с устатку хлебнуть доброго брусничного кваса, закусить блинами по-царски, щей кислых навернуть. И готово! Хорошенько выпив, перестают гости спрашивать, сколько чего стоит, главное — неси побольше. «Слушаюсь!» — щёлкает каблуками довольный хозяин и несёт. За старания ему долларовые купюры на поднос — хлясть! — и, подпирая друг друга русским духом, уносятся боляре играть в бильярд или в рулетку, куда шеф довезёт! Весело на улице Сахалинской.

Между прочим, она ещё и букинистическая, и гостиничная, и аптечная... Сворачивает вверху на Комсомольскую, к тенистым парковым аллеям. Райский



уголок. Где встречает с улыбкой Юрий Алексеевич Гагарин. Серебрится на солнце. Руками небо держит. На вопрос, где выход, автоматом ответят: «У Гагарина». Вот такой полезный человек: все входы и выходы у него. И космические и парковые. Правильный человек — Юрий Алексеевич Гагарин.

Вот и опять ладаном пахнуло. Ветерок свежий, быстро доносит. Церковный колокол Воскресенского зовет на вечернюю службу — бом! бом! А кинотеатр «Премьер», тот, что напротив, свой приход сколачивает. По церковному двору батюшки да челядь в храм стекаются, а в «Премьере» сегодня — «Люди в чёрном II». Поди, разберись — где сено, где солома. Направо идти или налево. А Дом печати напротив и правых и левых в суперобложку заворачивает. Нейтральную, по всему видно, позицию занимает. Много там всяких: от корейских подвижников до губернаторских глашатаев, от «Рыбака Сахалина» до «Наших островов» (острова действительно пока наши, а не «ихние». Чьи «ихние» — тоже пока непонятно, но предупредительно обозначено, что НАШИ, ёлки-моталки).

Вот так. Вся жизнь по кругу. Золотое, понимаешь, кольцо. И выход один — на вокзал. Под окна «Евразии», в самую гущу непрожитой, затухающей во время обеденного перерыва жизни. Кто-то сказал недавно, что пока наши вокзалы похожи на притоны, всё наше бренное существование будет отражаться в них, как в ненайденном зеркале. Хотите показать иностранцам настоящую Россию (в целом или от-

дельные её «части»), приведите их на вокзал. Чем не достопримечательность?

Я иногда говорю на иностранных языках. Чаще бессмысленно и беспомощно. Езжу по кольцевому маршруту, хотя давно уже не жду от него ничего нового. Просто жизнь распорядилась так, что мне именно этот маршрут и подходит. Один и тот же автобус везёт меня на работу и редкие свидания, на вокзал, к случайным друзьям и старым воспоминаниям, к неизбежно счастливому будущему и хлопотному настоящему, к достатку и к бедности, к любви и к ненависти. Мне уже давно известно, какая дорога ведет к храму. Кольцевая, конечно.

Пливет!!!

Женщина, круглая и прозрачная, как буква «О», прибирала вещи, разбросанные по углам со вчерашнего вечера. Очень уж она любила порядок. И отлично знала ему цену.

Буква «О» летала по квартире, напевая соло из модной оперетки. Удивительно, в какой восторг приводит женщину восстановление поруганного быта! С грацией балерины она взмахивала тряпкой, и уже скоро квартира сияла. Муж её оробел, пробрался на цыпочках к креслу и предпочёл в нём замереть. Кощунство — наступить на непросохший пол, выпить из чистой чашки чаю и уж совершеннейшее злодейство — ностальгировать в ЕЁ присутствии о вчерашнем вечере. Буква «О» вернулась в свои пенаты и желает жить «по-человечески». Будто до неё жили единственно по-свински.

Женщина любовно оглядела воцарившийся порядок и, вытерев руки, пристроилась на бывшем когда-то мягким диване. Взяла со столика журнальчик и с любо-

пытством принялась за светскую хронику. Новости её мало интересовали, а вот подробности частной жизни госпожи П. или господина С. (с супругой или без неё) очень даже. Азарт, разгоравшийся в глазах, достигал пика, когда сплетни перебирались на государственный уровень. Заметно снижался, когда в поле зрения попадал объект пожиже (она могла его попросту не знать, но — какая разница?!). Изучив, где и в обществе кого Марьфилипповна провела минувший уикенд, а Марьивановна — почистила зубы, буква «О» мечтательно закатывала глазки. Она-то уж точно знала, в какой фракции надо заводить знакомства и с каким «портфелем» томно переглядываться на фуршете в честь госпожи П. Но... к её услугам были лишь плотные ужины в компании с господином мужем, который, к несчастью, был не столько талантлив, сколь многообещающ. Ещё эти тунеядцы (типа художники и типа писатели), вызывающие у неё, круглой и прозрачной, непомерную тоску, портят ему весь имидж. Что они все понимают в её эфемерной душе, чистой, как небесный поток, и прозрачной, как слеза младенца? Эти пиявки, пьющие её кровь и тянущие жилы из её растяпы-мужа. Певцы свободы, оруженосцы чести, жрецы культуры и науки...

Буква «О» брезгливо пожала плечиками, глянув на законсервировавшегося в кресле мужа-творца. На кухне закипал поставленный борщ, и она торжественно отплыла проинспектировать ситуацию.

Мешая половником капусту, она вглядывалась в необозримые просторы, мечтала, как через пару десятилетий (не меньше) её многообещающий муж будет стоять в чёрном смокинге, в лакированных

туфлях и, конечно же, при бабочке перед почтенной публикой, внимающей новому нобелевскому лауреату в области литературы. Проливая слёзы радости, он будет все пять минут, отведённые на торжественный спич, благодарить её, соратницу и сподвижницу, за терпение и труд, положенные на алтарь его творческой натуры. А она... О! Она будет вне себя от счастья и восторга. И вот когда оркестр грянет туш, а они кинутся в объятья друг друга, она простит ему всё. От чистой души. Премию придётся потратить и на благотворительные цели: так и быть, купят свекрови шубу, а свёкру — зимнюю резину, хотя он, старый пень, так ни разу и не отвёз их на дачу.

Борщ закипел и призывно булькал. Муж потихоньку прокрался в спальню, служащую одновременно и кабинетом. Сел за стол: достал чистый лист, и ручка побежала по нему, оставляя невозможные каракули — чересчур торопливый почерк. Что-то чёркал, расставляя восклицательные, но чаще — вопросительные знаки. Творцу было обидно за вчера. За то, что оно так бесследно кануло в Лету. За то, что буква «О» вечно является без предупреждения, доставляя массу неприятностей. Ибо когда она вкатывается вовремя, она — почти что муза, почти богиня, ради которой хочется и жить, и петь, и дышать. И когда она только успела так округлиться? Нет, не внешне. В содержании! В голове — сплошной замкнутый круг. Мысль циркулирует по заданной траектории, не находя развития ни в одном из направлений. Пространство сузилось, мечты поблекли, страсть угасла. Может быть, это старость? Вчера ведь только бодри-

лись, расписывали, как мы молоды, полны энергии и планов... Творец вздохнул. Потянулся за томиком Пушкина: «Пора, пора мне быть мудрей...»

Буква «О» по-прежнему грезила о блестящих статьях в колонке светской хроники. Она уже давно мысленно переехала в Москву на постоянное место жительства, заводила новые, весьма полезные знакомства, раздавала гонорары и авансы начинающим художникам. Творец бунтовал против пошлости и жестокости человеческой натуры, против лжи, вдалбливаемой со школьной скамьи — о прелести и разнообразии жизни. Чушь! Её немыслимые богатства он сполна вкусил. У него было всё и ничего одновременно. Он грустил, страдал, разрывался на части. Буква «О» старательно перевязывала раны, утирала слёзы батистовым платочком, кормила жирным питательным борщом. Они засыпали вместе, но просыпались всегда в одиночестве. Творцу хотелось оттянуть миг пробужденья. Буква «О», напротив, с радостью бросалась навстречу новому дню. Врывалась в пучину дел, а по вечерам всё так же мечтала, напевая соло из модной оперетки.

Глянув на часы, творец вышел на балкон. Он точно знал, что около пяти мимо пройдёт женщина с ребёнком. Чудесной девчушкой, с огромным колыхающимся бантом на макушке. Она помашет ему ручкой, улыбнётся и крикнет: «Пливет!» И он помашет ей: «Пливет!» И всё будет хорошо, как в кино. Никакой лжи, одна радостная правда этого солнечного, беззубого «ПЛИВЕТ» с тремя восклицательными знаками.



Записки Паука

Прежде чем довериться автору всего нижеизложенного, спросите себя, не вызывают ли у вас презрение разговоры о пауках. И ради Бога, не спешите с утвердительным ответом. Возможно, вы знаете их лучше, но дело здесь не только в косвенных наблюдениях или научных приоритетах. Ни одно живое существо ещё не было объяснено даже с приблизительной точностью, не говоря уже о стопроцентном попадании. Мужайтесь, ибо беспрепятственное проникновение в чужую «паутину» всегда грозит неминуемым членовредительством непрошеному гостю. Маленькое и на вид безобидное насекомое ловко обставит ваше пришествие, как знак свыше, а после с аппетитом проглотит ваше сердце — ам! — и не было. Поди-ка, докажи, что не хотел обидеть паучка.

Только пауки способны понимать друг друга, несмотря на разницу в возрасте и в географическом положении! Они — заядлые одиночки, что составляет предмет их особой гордости и неизбежных разочарований. Им не нужны

несведущие «И.О.» или вездесущие «замы». Надо иметь сознание паука для того, чтобы научиться плести как минимум две или три паутины и ещё одну — очень тонкую — для себя, дабы не оскорбить окружающих.

Так вот. Поселилась как-то на дачных просторах одна уникальная особь, совсем интеллигентного вида и как будто безразличная к чужому мнению. Хорошая такая, полноценная особь, прежде неизвестного пола. Это теперь выяснилось, что особь представляла собой существо мужского пола с необузданными юношескими порывами запутанного содержания. Паучок жил не в ладах со всем миром, однако непрестанно желал ему счастья, обладая, так сказать, редкой разновидностью альтруизма. Его мохнатые лапки скрупулёзно перелистывали листья деревьев, оставляя в качестве дневниковых записей трупики своих случайных жертв (а что делать, кесарю — кесарево, а Богу — Богово, да и жертвы-то — мухи да мошки всякие). Была среди них одна большая жирная муха, которая надоела ему своим жужжанием и брюзжанием — пришлось применить силу и подсушить бузотёрку. Правда, ушло на это несколько «километров» паутины, но зато ничто уже не нарушало спокойствия мечтателя.

Если вам ещё никогда в жизни не приходило в голову заглянуть в паучьи размышления, то настоятельно рекомендую сделать это немедленно. Ниже вы познакомитесь с некоторыми из них, аккуратно облачёнными в летнюю сеточку переживаний и даже тихой грусти хозяина. Славная история, абсолютно лишённая всяческой логики и досужего вымысла, уж поверьте мне на слово.

Второй с половиной круг

Утомительное это дело — плести паутину. Хотел подумать об этом ещё на первом кругу, но лапы так были заняты, что сложно было удержать на весу собственные размышления. Просто так рассуждать не имеет смысла, а чтобы придать себе вес и значение, всегда надо остановиться и подумать. Сравнить, на худой случай, с предыдущими кругами — а вдруг они совершеннее?

И вот, выуживаю из собственных недр первую актуальную, на мой взгляд, мысль — для чего я только паук? Почему я не какая-нибудь бабочка, которая сама по себе настолько хороша, что и думать ей не надо — за неё обязательно все подумают: «Какая красавица! Ах, какая лёгкая, красивая жизнь! Вот бы мне стать бабочкой». Глупости! Что за примитивизм?! Бабочки только с виду хороши и приятны. Знали бы вы, из чего они получаются. Нет, я, конечно, не настолько близко знаком с процедурой получения бабочек, но наука утверждает, что получаются они из чего-то жирного и безобразного (в смысле — без образного). Бог дал им крылья: летай — не хочу, опыляй цветочки. Тоже мне, трудяги. Пыльцу-то кто угодно может с цветов собирать. Она всегда готовая.

Вторая моя, не менее актуальная, мысль по поводу этих самых бабочек заключается в следующем — отчего они год за годом так любят изменяться? Странное дело — мода. Модно сегодня быть в сиреневом, так нет же, назавтра они уже все в лиловый перекрасятся. И

пыльца у них каждый раз разная, и ухаживают за ними, и любят, а от нас, пауков, шарахаются. Кричат при этом, руками машут, будто нечисть какую увидели. Странно.

Я ещё не решил, отчего это происходит, но главное — я задумался. А если как следует задуматься, то всё равно в конечном итоге придёшь к каким-нибудь удобным и исчерпывающим выводам. Постараюсь на третьем кругу додумать, а сейчас — очень крутой поворот, который желательно пройти без узелков и путаницы.

Четвёртый круг

Простите за непоследовательность, но тема бабочек сбила меня с толку, и пришлось переплетать очень важный участок. Кроме того, неожиданно залетела какая-то козявка. В целях сохранения начатой паутины пришлось вызволять бедолагу.

Законы природы диктуют нам свои правила, но мне почему-то всё время хочется жить по собственному замыслу. Вот опять же взвесил собственные умозаключения и удивился — как могу я с таким количеством лишних извилин и узелков в голове балансировать на такой тоненькой ниточке? Умные пауки давно избавились от ненужного груза, и рассуждают в рамках собственного удовольствия или потребностей, а я... Всё у меня не так, как у других. И зачем, спрашивается, козявку не проглотил. Подавился бы, наверное. Хотя нет. Проблема балансирования и до меня многих доводила до плачевного состояния. В этом тоже заключается одна из прелестей паучьей жизни.

Я знаком с ещё несколькими удивительными особями, которые тоже всё время взвешивают да рассуждают. Но они далеко от меня — не то прячутся на соседней крыше, не то на ветках акации прозябают. Только ветровая почта доносит до меня всю тяжесть их раздумий. Да и как иначе, когда у тебя впереди ещё кругов семь или восемь, а то и все двенадцать. Я маленький, на многое не претендую — мне и шестнадцати хватит, а там...

Четвёртый с половиной круг

Потерял ниточку рассуждений. Зацепился за ветку и порвал нечто самое важное. Сегодня нашёл, но понял, что этот круг мне даётся гораздо тяжелее предыдущих: слишком витиеватый рисунок получается, всё тянет на аллегории в то время, как разумные насекомые отличаются прямолинейностью и узкой специализацией. Так вот. Развязав пару-тройку узелков, я пришел к выводу, что испытывать сомнения гораздо легче, чем кого-то любить. Сомневаться в чем-либо — приятно. Сомнения успокаивают самолюбие и тешат потихоньку тщеславие. Любовь же требует определённых усилий и попеременных проявлений бескорыстной веры и даже — доверия. Где же нам, маленьким, найти в себе такое количество сил, чтобы позабыть самоё себя и раствориться в ближнем своем. Отсюда вопрос, могут ли любить пауки?.. Но в этом сильна зоология, с её авторитетом учёности и рационализма.

Однажды я чуть-чуть не попал в лапы учёных! Страху-то натерпелся! Они очень серьёзно разгля-

дывали мои тоненькие, скрюченные от нервного потрясения лапки, какой-то огромной холодной палкой щекотали мой маленький животик, посыпали мою бедную голову порошком, запах которого вызвал у меня жуткую аллергию, но ничего. Я привык, расслабился, и в итоге — уснул.

Очнулся в луже собственных эмоций, так и не поняв, зачем я кому-то понадобился. Одно только помню — было страшно мокро от недочувствованного и недопонятого. Кстати, возвращаясь к любви... Нет, к этому сегодня лучше не возвращаться, иначе я просто заболею от жалости к самому себе.

Ой-ё-ой! Ну, зачем так раскачивать паутину, когда она ещё не закончена!

Опять эти бабочки! Спасу нет от них никакого. Хоть бы смотрели, куда летят.

Круг пятый с одной четвертью

Жутко замёрз на ветру. Лапки слиплись, и ни одной хоть сколько-нибудь аппетитной мухи. Соседки молчат. Видимо, уже отобедали или просто скромничают.

Я узнал несколько рецептов, как потерять сознание и никогда его больше не найти. Во-первых, можно с огромной высоты шлёпнуться на камни, и тогда уже никакая паутина не склеит твои бедные извилины. Однако это чрезвычайная мера, которая меня, если честно, только пугает, но не обнадеживает (где гарантии?). И тогда подлежит рассмотрению пункт «во-вторых», который гласит, что изредка нужно выходить из себя и

забывать дорогу обратно. Представляете, как это забавно: плетёшь себе паутину или летишь с дерева на дерево, а навстречу тебе — ты сам:

Здравствуйте, коллега!

Здравствуйте!

Далеко ль собрались?

Да нет. Вот только найду себя самого, и тут же обратно.

Так не меня ль вы ищете?

Что вы! Разве может такое быть! Искать вас? Да вы даже отдалённо не напоминаете мне себя. Какой вы странный, ей-богу!

А?! Каково? Типичный случай — одна личность не узнаёт другую, сознание раздвоено, и в конечном итоге — совершенно утрачено!

Да, но что-то я увлёкся. Должно же быть что-то третье. Третье... Знать бы, где его взять и за что. Третье...

. . . . . .

Нашёл! Третье — это лишнее. Значит, если нет меня и моего сознания, то всё остальное попросту лишнее! Ой, какая красивая бабочка полетела, а у меня одни только мухи. Эй, бабочка! Мы теперь с тобой лишние-е-е!

Седьмой круг с двумя четвертями

Паучьи страсти! И отчего я не тарантул какой-нибудь? Нет же, обыкновенный садовый паук без всяких особенностей. Жутко! Пытался сделать мёртвую петлю

(паутина без этого не паутина), да слёту в чей-то клюв чуть не угодил. Обидно, да — «Он умер, задохнувшись в чьём-то желудке». Соседки, наверное, будут плакать, мол, такой молодой!.. как ловко плел паутины.

Да. И всё же о паучьих страстях. На последнем вираже я видел, как большая девочка из дома, что напротив моей паутины, обнимала маленькую. Так нежно. (Пауков, между прочим, никто никогда не обнимает. Но это мелочи.) Большая девочка обнимала маленькую и пела ей песенку — вот это романтика! Но нет, я ошибся. Она её покачала, покачала и бросила — бум! — прямо на землю. Девочка, которая маленькая, даже не заплакала, а просто закатила глаза и тоскливо пропищала: «Ма-а-ма!»

Большая девочка ушла. Мне же не терпелось посмотреть, все ли в порядке с маленькой. Там, внизу, она лежала в прежней «паучьей» позе. Её верхние лапки выгнулись, как два брёвнышка, к голове, пытаясь прикрыть закатившиеся глаза. «Ма-а-ма!» — пролепетала она снова, чуть только ветер тронул её за плечо.

Я всё-таки спустился. У девочки совершенно отсутствовал обязательный для детей запах кипячёного молока и персикового варенья. Она вообще не пахла. Я удивился, но ещё пока не испугался. Оставил свою паутину окончательно и пополз по её хрупкой ножке. «Ма-а-ма!» — промычала она опять, отзываясь лишь шелестом платья на моё недоумение.

«Мама да мама!» — подумал я. Какой в этом толк. Ну, нет и не надо. Вставай, иди дальше. А самое главное — ни слезинки. Это так не похоже на девчонок.

(Пока я всё это рассказывал, был доплетён восьмой круг, после чего сразу стало ясно, что пора бы и честь знать, но...)

— Катьку хочу! Отдайте мне мою Катьку! — неслось из ближайшего ко мне окна.

Какую Катьку, зачем Катьку? Нет, я всё-таки слишком любопытен. И пока я разбирался со своим любопытством, Катька нашлась. Та самая Катька, которая вот тут, ещё совсем недавно ревела: «Ма-а-ма!» Её аккуратно взяли за ногу и потащили по чисто выметенной заасфальтированной дорожке в дом. А она всё ныла и ныла. Глупая какая-то, Катька эта...

Девятый круг

К несчастью, я очень туго затянул узел и слетел с паутины, вполне вероятно, в связи с нехваткой собственного ума. Собирая остатние узелки и чересчур напрягая последние извилины, принялся за новый круг, но... Опять помешала бабочка. Я увлёкся её парением: как быстро она скользила в воздушном пространстве и какой внезапно испуганной и уставшей сделалась, оказавшись возле моей паутины.

— Какой тонкий рисунок! — трепеща от восхищения, воскликнула она, шевеля усиками.

Странное, но очень необходимое качество — казаться утомлённой жизнью. Нет, это просто роскошное качество! Как же я раньше этого не замечал. Естественно, что я, как приличный паук, предложил ей удобнее устроиться на моей паутине и даже порекомендовал ей

аппетитную мошку, пойманную ещё с утра. Она отказалась. «Ах, что вы, что вы!» — возмущённо пролепетала дива, но, взяв себя в руки, продолжила знакомство.

Мы мило болтали о её чудачествах и страстном желании изменить мир, полный одиночества. Её крылья, с которых уже осыпалась пыльца и мелкие чешуйки (бабочки тоже подвержены возрастным неприятностям), до сих пор привлекали к себе внимание порядочных пауков и беспорядочных соплеменниц. Казалось, что и я уже не паук, а мелкая капустница. В её присутствии обязательно хотелось унизить себя до умопомрачения. Это было непременным условием игры, в которую мог попасться даже самый почтенный паук. Потихоньку я поверил сам себе... И полетел.

«Ах, что вы, что вы», судороги, закатывание глаз, капля родниковой воды и огромная разверзшаяся бездна под моими несчастными лапками.

. . . . . .

— Какой тонкий рисунок! — с иронией заметила она на прощанье перед тем, как собралась улетать. — Но вы, уважаемый мой паук, всего лишь паук. Помните об этом. Приличные бабочки не должны иметь с вами никаких дел и уж тем более — отношений.

Ну, что вы на это скажете? Утешил, успокоил, даже не съел... Вот она, земная благодарность. Никогда больше не буду заниматься благотворительностью.

Кажется, я разозлился. Стал неправильно плести нитку, путаю узелки, есть не хочется, лапки устали и дрожат. «Ах, что вы, что вы!» — тьфу, паучья жизнь!..



(Соседки зовут на обед, и на что я им такой сдался?.. Что на обед-то? — опять тухлятина, настоянная на извечном поиске смысла жизни...)

Одиннадцатый круг

Самый мрачный круг в моей жизни. Так утомился поисками смысла, что целый час мучался изжогой и несварением желудка. Пока искал, в саду снова появилась большая девочка. Уже без маленькой. Она трогательно приглаживала волосики, напевая песенку про солнышко, которое, кстати, давно собиралось закатиться.

В то время, как заплетающимися лапками я довязывал последнюю нитку десятого круга, она пристально наблюдала за мной любопытными синими глазами. Уф, какая суета. Больше всего я боялся свалиться в эту синюю бездну. (Ну, не наступать же опять на грабли. Это было бы глупо и даже как-то неразумно. А я ведь очень разумный паук... так соседки говорят.) Однако «бездна» не уходила, протягивала ко мне свои лапки, зачем-то трогала паутину, в общем, вела себя довольно подозрительно. Ей-то что, она — большая девочка, и моя паучья жизнь для неё просто развлечение.

Ай! Что ты делаешь, глупая? Нет, ну, вы только посмотрите на это: она схватила меня за лапку. А ну отпусти, оторвёшь ведь.

. . . . . .

Слава Богу, ушла! После долгих препирательств я снова остался один-одинёшенек. Но это и к лучшему.

Есть время разобраться со своими невнятными ощущениями, запутанными в тугой клубок повседневности.

Снова пытаюсь понять, в чём же преимущество пауков перед всеми остальными насекомыми. Нас тоже едят, мы не вызываем особых симпатий, хотя отдельными экземплярами восхищаются, и они даже приобретают коллекционную ценность в среде людей. Исключительные случаи. Чаще всего мы страдаем невзрачностью и подвержены охотничьему инстинкту. Вот я — всего лишь садовый паук, а представьте себе различных тарантулов, каракуртов, птицеедов и прочую ядовитую братию. О, где страху натерпишься! Сам я их боюсь чисто теоретически (на всякий случай), хотя ни с одним из них ещё не встречался. Жизнь в саду обладает некоторыми очевидными преимуществами, которые вряд ли по душе настоящим путешественникам, но вполне устраивают остальных, очень классических жителей сада. Здесь спокойно и пищи больше, чем в джунглях или в пустынях. Иногда, конечно, приходится довольствоваться сушёными лапками, мошками или личинками, но всё же лучше так, чем... по-бабочьи порхать и, в конце концов, быть съеденным ни за грош в самом расцвете сил.

«Ах, что вы, что вы», — горькая правда моего существования.

Когда я прилетел в этот сад с попутным ветром, он был пуст и только готовился к цветению. Никаких бабочек, никакой большой девочки-«бездны», никаких писклявых Кать и никаких птиц. Красота и спокойствие. Но нет же, лето всё-таки наступило. Все стали замечать



маленького паучка и указывать, что ему делать. Пуще всего — бабочки. И как можно было влюбиться в эту сиюминутность? Удивлён. Честное слово, удивлён.

Жду не дождусь, когда закончится дачный сезон, или снова подует южный ветер, чтобы улететь отсюда, куда глаза глядят. А глядят они у меня далеко-далеко и во все стороны сразу.

Тихо вокруг. Да. Крепко я задумался. Задумался и мой сад. Только глупые люди не знают, о чем мы думаем. Да и знают ли они вообще, что мы с садом умеем думать?

Без четверти двенадцатый круг

Я был непростительно зол. Это всё от непомерного одиночества мысли. Ну, хоть бы какая завалящая мыслишка посетила кого-нибудь из моих ближайших соседей. Но ни божьи коровки, ни тем более муравьи этим не располагают: одни — блаженные, другие слишком много работают и все бегают туда-сюда — какая же мыслишка может появиться в ногах? Одни рефлексы остались.

Пауки, которые расположились на соседних кустах и деревьях, иногда подбрасывают мне пару-тройку дельных советов, но чаще приглашают на обед, зная, что моя паутина — это ещё пока «тонкий рисунок». Я их не разочаровываю. У каждого своё — у кого-то гордость, у кого-то предубеждение, а у меня информационный голод и жажда понимания.

Недавно большая девочка назвала меня «философом из древних пустынь». Перепутала с таранту-

лом — такое тоже бывает. Но, в общем-то, приятно. Образ мыслей больших девочек практически ничем не отличается от образа мыслей бабочек, но они более деликатны в общении и ценят твоё усердие.

Как-то большая девочка — Голубая Бездна — пыталась поговорить со мной по душам (или о душе — уж не знаю, чего она хотела).

— Милый паучок, почему люди прячут свои души, а ты не прячешь? Тебе её даже прятать некуда — вот он ты, весь, как на ладони, вернее, на паутине (улыбается). Ну, куда тебе её прятать? Карманов у тебя нет, да и сердце у тебя доброе (задумалась). А есть ли у тебя сердце, паучок?

Странная какая-то, ведь если бы у меня не было сердца, с какой стати я стал бы разговаривать с ней про душу.

— Да, — говорю, — есть у меня сердце.

Но она меня не услышала. (Большие девочки почему-то слабо слышат.) На минутку отвернувшись от меня, Голубая Бездна снова стала пытать меня каверзными вопросами:

— Отчего ты такой, паучок, страшный, но добрый?

Вот, дела. Забавно. Значит, я страшный. Но добрый... Кто же ты после этого, моя маленькая фея? Я чуть не расплакался. Ещё никто не замечал, что я, оказывается, добрый. Бог с ним, страшный, но ведь главное — добрый. Ой, даже в собственной паутине запутался. Лапки опять ходуном ходят. Нет, уходи поскорее, большая девочка, не волнуй моё бедное сердце. Мне надо работать, надо мошек да комаров ловить,

надо мысли привести в порядок, узелки распутать... А Бездна стояла и глядела на меня своими огромными глазами. Для неё я по-прежнему был маленьким и жалким, хотя, может быть, в промежутках между жалостью и непониманием она допускала мысль о том, что я ещё, вполне вероятно, и отважный.

Похолодало. Пора сматывать удочки да на покой.

Ну, что ты стоишь? Я всё сказал. А если даже и не всё, то больше уже ничего не скажу. Иди спать.

Без двадцати тринадцатый круг

Не спалось. Пришлось вылезти из-под листа и продолжить труды.

Слышал, будто земля на самом деле огромная, и живут на ней миллиарды больших девочек вот с такими же синими глазами. Но я почему-то уверен, что такой Бездны больше нигде нет. Ею трудно управлять, она завораживает. Я не только перепутал все нитки, но едва не сорвался, забыв про гражданский долг и ответственность перед ближними за них же самих.

Боже, ну за что здесь отвечать, что любить или ненавидеть, когда она сама соткана почти что из паутины? Ты меня слушаешь? Любовь перестает быть тайной, когда вот такие глаза проникают в тебя, упорно ища сердце там, где оно не предусмотрено.

Ты один знаешь, что у пауков нет сердца, зато Ты подарил им глаза, чтобы видеть всех и всё сразу. Если Ты наделил человека душой, то куда спрятал её в нас, насекомых? Вот с божьими коровками всё

понятно. А мы, а я?.. И пусть Ты меня не услышишь (у Тебя тоже плохо со слухом, как и у большой девочки), но отвлекись на минутку. Поговори со мной, как разговариваешь с тысячами людей, уча их добру и милосердию. А? Что? Прости, не расслышал... Времени нет? Ну, хорошо, я согласен подождать, пока Ты занят большими девочками, открывая им правду о Мире и о Себе. Пусть Тебя не заботят проблемы бабочек и пауков. Но я видел, Ты тоже плетёшь свою нехитрую паутину (из облаков, наверное). Интересно, похож ли Ты на паука? Сколько у Тебя глаз? За что Тебя назвали Богом? У меня к Тебе есть одна только просьба — дай же и мне имя. А то я только и слышу: «С именем Твоим...»

С именем Твоим, с именем Твоим, с именем Твоим...

Всё в мире делается с именем Твоим. Назови же и меня по имени, чтобы слышала каждая травинка, как велика сила Твоей любви. Или оставь меня, потому что, чувствую, не смогу ответить Тебе тем же.

. . . . . .

Так. По-моему, я бредил. Но ничего, бывает. Большая девочка и мои соседки всё время говорят о каких-то поэтах. Читают наизусть «строчки стихотворений» и так восторгаются ими. Кто они, эти поэты, не знаю. Но уверен, что читать паутины гораздо сложнее. Найдутся ли специалисты, которые прочтут подвалы моих воспоминаний?

Да уж. Всякое может случиться на тринадцатом кругу жизни. Надо с этим заканчивать. Спать, спать,



спать. Спокойной ночи, большая девочка. Передай привет своей Кате, пусть она больше не плачет. Спокойной ночи, садик. Прости, что разбудил тебя своей бессмысленной болтовней. Всем пора спать.

Четырнадцатый круг

Всё просто. Ха-ха. Я сошёл с ума! Я первый паук, сошедший с ума. Нет, конечно, и раньше пауки сходили с ума, не без этого. Но чтоб так, в одночасье, взять и сойти, практически спрыгнуть с него, с этого ума... Не припомню такого случая.

Сегодня сад проснулся раньше обычного, зашелестел, забеспокоился. Пришлось и мне пораньше взяться за свою паутину. Сколько мошек и росы прилипло к ней за ночь. Хозяйственные дела всегда утомляют, но сегодня уж как-то особенно сильно. Тонкая работа не может сочетаться с грубыми пыльными делами. Чистота мысли напрямую зависит от внутреннего состояния пилота. А вот внутреннее состояние как раз меня и подвело. Не готов я к полётам. Бросить всё да пойти разбудить соседок?

. . . . . .

Бесполезно. Спят, как мёртвые. Даром, что пауки.

Большая девочка тоже ещё спит.

Я заметил, что с каждым разом круги на моей паутине увеличиваются, и работа становится более ответственной (везде законы диалектики). Ну, что это будет за паутина, если ты планируешь сделать из неё

только охотничье снаряжение. Другое дело — отнестись к процессу творчески, воплотить в ней великие замыслы. Мало ли, что люди в этом ничего не понимают, но ведь ты понимаешь. Кто ещё будет тебе судьей, кроме твоего сердца? (Дался мне этот сердечный вопрос. Вот забота, разбираться во всех этих человеческих штучках.) Единственный недостаток в искусстве плетения паутин — насекомые. Они рвут её крыльями, бьются в агонии, думая, что смогут вырваться.

Крылья, крылья... Кому вы даны, тот ими пренебрегает, а кому не даны... Тот плетёт паутины.

. . . . . .

Не подумайте, что пытаюсь читать проповедь, но как-то неудобно и даже неприлично всё время разговаривать с самим собой.

О! Опять полетела эта «Чтовычтовы». Какая неприятность.

— Господин паук! — внезапно раздалось за моей спиной.

— Да-да? — только и произнёс я, оторопев от такого странного и неожиданно почтительного обращения.

— Не соблаговолите ли вы подвинуться, мне не хватает места, — вежливо поинтересовался Кто-то.

— С удовольствием подвинусь, если вы скажете — зачем.

— Вы мешаете мне окукливаться.

Я повернулся и... О, ужас!!! На широком листе сирени расположилась ужасно скользкая гусеница.

— Сударыня, неудачное вы выбрали место, да и время тоже неудачное.

— Прошу прощенья. Но вы тоже беспрестанно плетёте свою паутину, я видела. Вы даже ночью ее плетёте. Как же я могу противиться природе, когда ей вздумалось именно здесь и сейчас превратить меня в бабочку.

— Вас в бабочку? Вы уверены? — я откровенно разнервничался.

— Вас что-то в этом смущает?

— Нет, что вы! Надеюсь, вы будете очень красивой бабочкой.

— Спасибо. Я тоже надеюсь, что вы закончите когда-нибудь свою паутину и найдёте своё имя, — приветливо ответили мне. Но позвольте, она что, подслушивала? Откуда она знает про имя?

— Не пугайтесь, — будто услышав мои мысли, поспешила успокоить Гусеница-Бабочка. — Я тоже его искала, но так и не нашла. Наверное, с нас достаточно тех имён, которые дают нам люди посредством этой мерзкой латыни.

— Вы очень милы, — нашёлся-таки я.

— С удовольствием побеседую с вами позже, когда будет время. А теперь, пожалуйста, оставьте меня. Мне уже пора.

Переваливаясь с бока на бок, Гусеница-Бабочка стала стремительно опутывать себя ниткой, почти такой же изящной и тонкой, как моя.

Вот так вдруг я снова остался один. Или почти один, потому как моя нечаянная знакомая всё ещё посапывала неподалёку. Конечно же, я подвинусь. Чего

не сделаешь, когда тебя столь любезно просят. Но вот в чём дело... Оказывается, бабочки тоже не сразу становятся красивыми — гипотеза длинноруких учёных подтвердилась! Боже, какое разочарование. А я-то им завидовал! Живи теперь с миром, друг паук, когда-нибудь и ты станешь пределом совершенства. Но надеюсь не таким, как это «Чтовычтовы». Может быть, я превращусь в большую девочку с синими глазами.

Бездна открытий, которые надо в чем-нибудь утопить. Например, в смысле жизни. Надеюсь, его протухший запах выветрится сам по себе.

Ох, лапки да хвостики. Спасибо тебе, Господи!

Пятнадцатый круг

Целый день провёл в ожидании, но ничего путного так и не произошло. Ни в кого я, разумеется, не превратился. А вот моя соседка (та, что Гусеница-Бабочка) совсем притихла и замерла на целый... не знаю, на сколько, но факт в том, что она меня уже больше не беспокоила. Разве что моё больное воображение. Так хочется увидеть, какая из неё получится бабочка.

Я попробовал завернуть себя в собственную нитку и полежать так на солнышке несколько часов кряду. Но и на сей раз ничего не вышло. Я лишь едва не угодил на праздничный обед к пчёлам. Ох, и попрыгал бы! Они так воодушевлённо расположились на недавно распустившейся розе, что, право, всем своим видом выказывали нежелание встречать непрошеных гостей, и тем более конкурентов.

В общем, пришлось оставить затею с превращениями. Странно, но только сейчас я понял, насколько завишу от своей паутины. Не могу от неё оторваться, полететь в какое-нибудь другое место. Можно было бы остановиться на достигнутом. Но нет! Мое энергетическое состояние увеличивалось вдвое, как только ко мне приближалась девочка-«бездна». Перед ней я выдавал такие кренделя, какие ни один паук не смог бы себе позволить даже в самом почтенном возрасте. Я вдохновенно плёл забавные рисунки, забывая обо всём на свете, кроме нее. Позёр! Хоть сейчас на выставку.

Кстати, я ещё ни разу не видел здесь больших людей, хотя проживаю в саду уже целых три дня и пятнадцать с чем-то кругов. С этими большими всегда очень много проблем. Они любят размахивать руками и рвать чужие паутины, не удосуживаясь подумать об их хозяине.

Однажды, во время моего проживания в каменных джунглях, в такой же почти заварушке, я свалился к одному почтенному джентльмену за шиворот. Он так ритуально стал выделывать коленца, что, казалось, будто они у него сгибаются и разгибаются во все стороны. Я даже успел почувствовать в нём родственную душу. Но, недолго думая, эта родственная душа едва не задушила меня в своих лапищах. Хорошо, что подул ветер, и меня отнесло подальше от этого господина. (Надеюсь, теперь вы понимаете, что все мои рассуждения о душе — лирика, неудержимая попытка занять голову в то время, как заняты лапы.)

Странно и неправильно всё же устроен мир. Никакой тебе справедливости и мало-мальской гармонии. Как воспитанный паук, могу со всей ответственностью заявить, что подобному факту не место в приличном сообществе и его необходимо искоренять всеми возможными средствами и способами... но кто будет этим заниматься? Ведь все так заняты своими паутинами, и ваш покорный слуга, к несчастью, тоже. Да, жизнь переполнена риторикой. Завяжите мне глаза и дайте в лапы весы — попробую взвесить истинную меру нашего бестолкового правосудия...

Без пяти шестнадцатый круг

Совсем устал и изголодался. Размышления на пустой желудок бывают излишне болезненны, а потому — противопоказаны.

Куколка (то есть моя свернувшаяся соседка) давно вылупилась. Ничего сверхъестественного — обыкновенный махаон получился. Мы ещё некоторое время полюбезничали и разлетелись. Вернее, она улетела, а я остался.

Не знаю, о чём уж она там думала, пока лежала в своём коконе, но её навязчивая идея по поводу моего имени совсем меня утомила. Да, да, признаюсь — я сам его искал, хотел найти, просил, умолял. Но если паук доведен до отчаянья, разве не может он в горячке наболтать всякой всячины, о которой будет сожалеть всю оставшуюся жизнь. Нет, всё-таки подслушивать нехорошо. А что касается имени, я сам себе его приду-

мал. Разрешите представиться — Паукус Обыкновенникус! А? Каково? По-моему, звучит неплохо, очень даже по-латински. Трудно быть кратким, но точным.

Э-эх! Не вышло из меня ни скептика, ни стоика. Один мрачный пессимизм так и душит. Ты ошиблась, девочка-«бездна», я не философ, я всего лишь сторонний наблюдатель, опутанный собственной паутиной, лишённый имени и крыльев. Ты видишь, я тоже умею плакать и смеяться. Досадно, что тебя ругают родители, называя твои превосходные мозги большой девочки — куриными, или даже, не приведи Господь, — паучьими. Они не правы, не верь им. Приходи со своей Катькой ко мне. Пока она будет ныть, мы будем искать с тобой тонкие чувства и моё несуществующее сердце. И вдруг какой-нибудь заблудившийся художник остановится и напишет картину, которую мы обязательно назовем «Большая девочка и паук». Ты будешь в масле, а я — маленьким угольным пятнышком. А может быть, меня совсем не будет. Тогда назовём картину «Просто большая девочка без паука», и ты будешь всем рассказывать, как садовый паучок утонул не в зелени цветущих деревьев, а в бездне твоих синих глаз. А ещё — мы снимем мою паутину и подарим её художнику, пусть учится точности и тонкости деталей. Должны же и мы его чему-нибудь научить...

. . . . . .

На этом месте учёные записки Паукуса Обыкновенникуса прерываются, поскольку паутина была

завершена, и думать больше было не о чем. Лето он провёл с большой девочкой, ловя мошек и навещая соседок, удобно расположившихся под сенью цветущего сада. Где он оказался после, трудно сказать. Может быть, сам давно уже стал чьей-то записной книжкой. Вполне вероятно, что он всё же полюбил и простил бабочек за их красоту и отсутствие ума. Нельзя же быть таким нетерпимым.

Наверняка осенний ветер унёс его далеко-далеко. И, наверное, он был этому рад. Освободился, наконец-то, от своей паутины и полетел на поиски души к самому главному «Пауку» в нашей вселенной. До свидания, милый. И счастливого пути.

Шумашедший

Земля стонала... Протяжно, долго. Без надежды — безнадежный стон. Глухо, угрюмо. Без веры — неверный стон.

Земля стонала, обожжённая, обветренная. Отпусти!

Мальчик-послушник прижался ухом к земле, гладит её ласково: «Потерпи. Потерпи. Тебе заповедано». Отнимая на секунду голову, во весь рост выпрямлялся, осенял себя размашисто крестом и снова падал. И слушал. И плакал. И жалел — потерпи!

Егором его звали. И в околотке, и в дальних сёлах. Сам по себе вырос. Один, безродный, из избы в избу, из рук в руки перекатывался, как прошлогодняя репа. Пока в монастырь не спихнули. Там братия попинала, да приголубила. На честное послушание оставила. Сызмальства работал непомерно — воды принеси, печи вычисти, дров напаси, хлеб сготовь. Всё делал справно. И молчал. Думали, больной, тёмный. А он крепкий, неразговорчивый. Оно и к лучшему.

Вышел Егор за ворота юношей. Оглянулся на дом свой приёмный, в пояс ему поклонился. Поглядел по

сторонам — куда не пойдёшь, всё одно, где век свой размыкивать. Сперва по сёлам ходил, подаяния просил. Потом на работы брать его стали. Долго нигде не задерживался — платить не с чего, так за хлеб спасибо скажет и дальше пойдёт, молчун монастырский. Глаза синие огнем жгли. Редко теплом пригревали.

Одно время потеряли Егора. Отцы нашёптывали, будто помешанным сделался да сгинул. Потому — кидался на прохожих, прыгал вокруг, руками, как крыльями, бил и улюлюкал. Могли и до смерти забить... Бабы-то его скоро в юродивые прописали. Несли по привычке хлеба кусок, рубаху мужнюю, ветхую — на, помолись во здравие. Дети по злобе своей малолетней гонялись за ним, камнями да глиной забрасывая, и неслось по округе — «Шумашедший! Шумашедший!» Дети же...

А он не сгинул. До самого Сергия-батюшки доплёлся. Там встал на четвереньки — и ну вокруг лавры ползать. Штаны уж давно протёр, ладони в кровь изодрал, головой мотает, слезами заливается, а ползёт. Неровен час, под машину угодит. Что за думки его мучили, ни одна душа на земле того не знала. «Шумашедший» — одно слово.

День прошёл, второй. Егор в овраг уполз, там схоронился, передохнул. После сухарей в ладонь накрошил, водой колодезной запил и вон из города вышел. Потом уж его снова подле монастыря увидали. На постой не напрашивался. Странноприимная паломниками забита, негде голову приклонить. Настоятель сменился, братия и виду не подала, что Егор-то свой. Вот здесь выросший.

Случилось мимо того монастыря в село человеку ехать. Видит, мальчуган чернявый стоит, голосует:

— Подвези, дядь. Ноги сбил, идти не могу. Здесь близко.

Стоит, улыбается. Лицо пыльное, в волосах колтуны. Во рту зуба не хватает. Оглядел его пристально. Махнул рукой — садись. Только дверь открыл, откуда ни возьмись, налетело ещё с десяток таких же космарей, из машины выволокли, избили до полусмерти, деньги отняли, самого в поле бросили. «Сволочи! — хрипел вослед, распластавшись на брюхе. — Цыганы проклятые!» Траву в кулаках стянул, замычал, как теля беспомощное, и уткнулся головой в землю.

— Больно тебе, дяденька? — Егор его за плечо тронул. Неподалёку в леске состроил себе шалашик и жил в нём. — Вижу, что больно. Слава Богу, живым оставили.

— Ты ещё кто такой? — простонал человек.

— По имени Егор, по прозвищу — Шумашедший.

Человек от удивленья зашевелился, на локтях приподнялся и в глаза Егору уставился:

— Дурной ты совсем, как погляжу, — повернулся и кое-как на спине приладился. — Чего смотришь? Дурной и есть.

— Ты меня дурным не зови. Не меня в поле выкинули. Своего-то, поди, не упомнишь.

— Чего?

— Да имени-то.

— Да не морочь ты мне голову! Трещит, зараза, да ум вконец не вышибли. Макаром звать, — кор-

часть от боли, почти присел уже и глазом целым на Егора позыркивает.

— Хоть Макаром, хоть Иваном, хоть женой Распоповой — нет у тебя имени, — упрямился Егор.

— Ты что, чёрт белобрысый, совсем из ума выжил? Сказано тебе — Макаром кличут, так и есть! — перекатившись с больного бока на здоровый, возмутился человек.

— Ладно. Почто, Макар, тебя люди побили? — Егор вырвал незаметно из земли корень, смочил в лужице и стал в руках мять.

— Цыганов людьми звать?! Да скоты они! Лопоухий один подскочил — дядь, довези — а как в машину прыгнул, так ещё орава налетела. Исколошматили. Глаза открыл — ни машины, ни цыган. Глянь, чё делается-то! Ни одной кости, поди, в живых нет.

— Значит, не от сердца помог, — поглядывая на Макара, трудился над травкой Егор.

— Пугало огородное, много ты понимаешь? Не от сердца... — скривился, обидевшись, человек. — И откуда ты взялся на мою голову?

— Двинься давай, — поманил Егор. — Можешь двинуться-то?

Макар мотнул головой, и Егор сам притянул его к лужице, где лежал размятый корень травяной. Взял его, в глине повозил и стал раны Макаровы замазывать да приговаривать:

— Нет у меня ни родины, нет у меня и матери. Та, что родила меня, в лесу на суку повесилась. Та, что выкормила, позабылась. Нет у меня ни дома, нет и

отца. Избу завистники спалили, отца проходимцы убили... — отёр с лица Макарова кровь, рубаху разодрав, глаз заплывший перевязал.

— Ты чего? Делаешь-то чего, спрашиваю? — изумился Макар. Морщился от боли, но терпел. Егор ползал вокруг, губами шелестя, а потом снял с себя крест деревянный и протянул, улыбаясь.

— Носи на здоровье. Братом мне будешь.

— Зачем это?

— Чтобы цыганы зазря не били и добро твоё не украдали. Хороший ты человек, Макар. Божий человек. Да только запамятовал. А помнить надобно.

— Ты, братец, меня не путай. У нас с тобой дорожки разные. Ты до Бога, я сам по себе. Ты меня не агитируй, слышь? Не то в лоб дам!

— Не злись. Не бойся. Слушай, — Егор опрокинул Макара навзничь, ухом к самой земле приставил. — Слышишь? Живая.

Тут он и сам рядом примостился. Замерли оба. Макар глаз пучит, так напрягся, что даже рот растворил:

— Точно, слышу! Слышу, чтоб те пусто было! Гудит чего-то. Как в бочку гудит!

— Это мать моя стонет. Боженька ей помереть не дает.

— Тьфу ты, турок. Ну чего ты заладил? Боженька твой на мне места живого не оставил. Тебя дураком сделал. А он всё — Боженька! Боженька! Поди, тоже из здешних, из попиков? — кивнул в сторону монастыря Макар.

— Из здешних, правда.

— Во, то-то, гляжу, елей льет без остановки. Так и есть — юродивый! — обрадовался Макар, в Егора

пальцем тыча. Тому тоже весело стало. Хохочут оба, закатываются. По плечам друг друга хлопают. Так хлопали, что Макара опять к земле привалило.

— Слушай, Макар. Слушай, непутёвая голова! Ухо твоё глухо, глаз ослеп. Сердцем слушай, Макар. Стыд тебя покинул. Как вернётся — страшно станет, больно станет. Сам себя разодрать захочешь, а сил не найдёшь. Стыд — штука крепкая. Всё своё проживёшь, Макар. Все долги людям раздашь. Что без зазора взял, всё собственной шкурой отработаешь.

Макар ещё пуще изумился. Откуда этот слизняк доходяжный про дела его знать может? Ехал стороной, никому словом не обмолвился...

Не успел закат догореть, тучи грянули, вороны забеспокоились, в поле трава зашуршала, пригнулась и затихла. Гроза накатила нешуточная, ливень захлестал холодный, осенний. Тут Макар с «шумашедшим» возьми и зареви в голос:

— Господи, помилуй мя, грешного! Человеколюбец, прости!

Воет, а сам траву дерёт да целыми пригоршнями в рот запихивает. По земле катается, о камни бьется:

— Что я тебе сделал, кровопивец! А? Чего ты мне душу на кулак наматываешь? Со свету сжить хочешь? Виноват, так не тебе наказывать. Суд на то есть. Законы есть. Отпусти! — взмолился Макар. Глаз его чёрным от боли сделался. Волос на лицо налип, вода ручьями сбегает. Ох и страшен Макар. Жалко его стало.

— А ты повой, повой. Глядишь и полегчает. Божий человек, Макар, а про стыд забыл. Крест храни, а от-

куда взял — молчи про то. Не поверят. Ещё сумасшедшим прозовут. Цыган забудь. Всё забудь. Уходи, Макар. Долго живи, бедоносец.

Ошеломлённый Макар встал, как ни в чём не бывало, рубаху одёрнул, крест, в кулаке зажатый, в карман запрятал. И попятился, и побежал. Рукой всё отмахивался, будто померещилось чего — чур меня, чур! Дошёл ли до дома? А как же, не дошёл. Дошёл. Здоровый мужик-то был.

Егор свой век размыкал, но от земли так и не выпрямился. Ослеп, а дорогу верно правил — ползал туда-сюда, молитовку бормотал, руками шарил, будто потерял чего. На селе его стороной обходят, старухи, как завидят, крестятся, а деды, бородёнками потрясая, вослед едва шамкают:

— Шума-шетший!

Братия в монастыре давно поменялась. Новоприемные в трапезной у печи приютили. Доживает Егор в тепле теперь.

Стонет земля. Живёт-тужится, не смея ослушаться. И «шумашедший» с ней — кряхтит да улыбается. Крепкий брат. Живучий. Хоть по имени не назовут. И в лицо не узнают.

Единственное число



Жил-был Тапок... Впрочем, почему это «жил-был»? Живёт себе, до сих пор поживает. Но в сказках полагается, чтобы все жили-были. А иначе ерундовина какая-то выходит. Поди, проверь, что за сказка такая?! Пусть уж лучше всё по правилам будет. Жил-был Тапок.

Ничего себе такой Тапок. Средних размеров (то ли 39, то ли 40 — шут его разберёт!), с обычной внешностью. Ни тебе бубончиков, ни китайских драконов. Серый, угрюмый, стоптанный.

Пару свою законную он ещё в прошлом веке потерял. Потому его больше никто не носил. Но в хозяйстве пригождался исправно. Когда муху шлёпнуть, когда мячик из-под дивана достать, когда Младшему — негоднику и недоучке — как следует всыпать. Тапок на всё согласный. Лишь бы на помойку не выбрасывали. Насчет Младшего он, конечно, сильно огорчался. Ну какая это наука, когда тебя сгоряча да с оттягом по самому мягкому месту! Обида одна и получается. Тапок протестовал, но — ни свободой, ни властью для

отмены экзекуции не обладал. После его с досадой забрасывали куда придётся. То в угол, то на балкон, пару раз в мусорное ведро попадал. Думал: «Ну всё! Отмучился!» Но уже на следующий день его вынимали, отряхивали от всякого непотребства и тут же пускали в дело: подсовывали под дверь, чтобы с балкона ветерок забегал, подкладывали под горячую кастрюлю, потому как линолеум жалко, а больше ставить некуда. На столе громоздились пирамиды из чашек, мисок, стаканчиков, тарелок и тарелочек, на подоконнике — тоже не протолкнешься. Сковородки сычом глядят, того и гляди, треснут от важности. Посуда на солнышке сушится, где уж тут борщу пристроиться. Да ещё с плиты только что. Тапок терпел.

Даже картофельную кожуру, ненароком ссыпавшуюся с газетки, и ту Тапком подметали. Ему обижаться некогда было. Успевай, поворачивайся.

Приятней всего с Младшим было играть. Тот его в ванной пароходом запускал, посадив на обветрившуюся и прожженную палубу до смерти перепуганного хомяка. Хомяк джунгарский, весом с пушинку, сердечко колотится, скребёт лапками, мечется. Тапок терпел, пуская пузыри при слишком резкой смене курса. А после хомяк в клетке сушился, а Тапок так в ванне и кис. Покуда Хозяйка за ухо на балконе не подвесит. Терпел Тапок. Куда деваться? Беспарному-то...

Но однажды на площадке перегорела лампочка. Хлоп! И в замок ключом не попадёшь. Хозяин ждал, что какой-то Жэка придёт, лампочку ему вкрутит. Не тут-то было. День, второй, а света и в помине нет. По-

ворчал-поворчал, сам сходил, купил и даже вкрутить вознамерился. Притащил табуретку, натянул трикошки, дверь распахнул... да босым как выйти-то. Оглянулся, ногой пошарил, Тапок и подхватил.

Преобразился беспарный! Складки выпрямились, морщинки разгладились, ещё чуть-чуть, и он бы улыбнулся. Сколько лет! Часов и минут! Ждал он, когда вспомнит его нога человеческая. Ибо борщ борщом, а ведь он какой-никакой, а всё-таки тапок. И когда-то он стоил существенных денег. 1 рубль 28 копеек — это вам не хухры-мухры. Столько же, судя по чеку, стоил и его напарник. То была их общая стоимость. Но пары больше нет, и Тапок разделил её пополам.

Тапок сделал шаг — и табуретка аккурат оказалась под щитком. Потом Хозяин взял лампочку и снова вышел. Босой ногой скакнул на гладкую макушку табуретки, потянулся, выкрутил старую, а новая возьми и... БЗДЫНЬ!

В сердцах Хозяин зашвырнул табуретку в дом, и дверь захлопнулась перед самым носом Тапка. С этой самой минуты жизнь его разделилась на «жил-был» для тех, кто остался по ту сторону порога, и «живёт-поживает» — для него самого.

В приличных сказках финал, как правило, предсказуем: если есть Золушка, то найдется и принц, чудовищу, как пить дать, раздобудут красавицу, если кого-то потеряли, то непременно найдут... Но это в приличных сказках. В тех, что слушаются хотя бы по утрам и, проснувшись, сами идут чистить зубы...

Тапок ждал.



В квартире (уже без него) ещё некоторое время копошились, звенели посудой, гремели крышками.

Он знал наизусть каждый треск, каждый писк этого дома. Пяткой чуял настроение всех его обитателей — так давно он «жил-был» в нём. Поэтому теперь с грустью понимал: возвращения придётся ждать долго. Минимум — до утра. Младший давно дома и уже схлопотал за жирную лиловую двойку по русскому. Гулять не выпустят, даже если очень попросит. Суп остынет, вынесут на балкон — лето всё-таки. Если б второе готовили... Хозяин сильно расстроился и за новой лампочкой вряд ли пойдёт.

Тапок приготовился ждать. Возможно, целую ночь. А если не повезёт, и завтра окажется выходным, то и ещё день, и ещё одну ночь. Втайне Тапок надеялся на Младшего. Тому вечно куда-нибудь надо. Наткнётся, закинет в дом. Всё-таки не чужие. Татуировки, сделанные Младшим ядовитыми китайскими фломастерами, до сих пор не сошли с Тапковой стельки...

И прошла ночь.

И заспанное серенькое утро просочилось в щербатое окошко подъезда.

Дверь справа скрипнула, потревожив и без того неспокойный сон Тапка, и на площадку выскочил человечек-кузнечик — пружинящие ножки, маленькая чёрная головка в вязаной шапочке, весь в нестерпимо розовом, постреливающем, посверкивающем. Сосед. Дядя Гриша. Изучает рыб и обычно чрезмерно задумчив, а сегодня — как никогда, в духе и насвистывает «монтажников-высотников» под нос. Дело в том, что

дядя Гриша влюбился. Впервые за последние сорок лет своей ненаучной жизни. И решил прийти в опрометчиво растерянную форму. Купил костюм на китайской барахолке (ибо дядя Гриша вовсе не рассчитывал бегать трусцой дольше, чем того требует период ухаживания. После заключения брака он непременно вернётся к своим рыбам, благо девушка Катя, стажёрка, недавно пришедшая в институт, была покладистой и, похоже, рыб любила столь же сильно. Наверное, даже сильнее самого дяди Гриши. Поскольку совершенно не обращала на него внимания. Бедный дядя Гриша!)

Поковырявшись в замке и всё так же насвистывая, он приготовился бежать навстречу судьбе, но споткнулся и бухнулся как раз на осколки не захотевшей вкручиваться лампочки.

— Мамочки! — огорчился дядя Гриша, оглядывая разодранное колено. По всей вероятности, огорчился он очень громко.

Дверь открылась и на пороге нарисовался весь как есть Хозяин. А как есть — это в оранжевых трусах на голое тело, чрезвычайно шерстистый. Просыпаясь, он грозно расправлял могучие плечи. Но поскольку был человеком в принципе добрым, но не совсем воспитанным, сначала громко зевнул на дядю Гришу:

— Ну?

— Так вот же ж! — сидя на полу, развёл руками дядя Гриша. — Ваша вещь?

— Ну моя, — согласился Хозяин. — И что?



— А то! — взвизгнул сосед. — А то, что я с вас ущерб стребую! Раскидались тут тапками. Человеку уже и пройти негде!

Дядя Гриша впервые в жизни по-настоящему возмутился. Мелькнула мысль, что сейчас он будет бит, но не стерпел. Отскочив на всякий случай подальше, он продолжал выкрикивать совсем не страшные угрозы.

— Слышь, ты, правовед! — взревел на весь подъезд Хозяин. — Я тебе щас такой ущерб нанесу!..

Но дядя Гриша не стал дожидаться и быстренько стёк вниз, мелькая углами локтей и коленок, хлопнув напоследок тяжёлой металлической дверью. Чего он отродясь не делал, будучи человеком воспитанным.

Хозяин, разъярившись, схватил Тапок и запулил им в давно разбитое окно. Звон остатков стекла разбудил нижние этажи. Там и тут зашевелились и закашляли, давая понять, что очень недовольны пробуждением...

...Тапок был подавлен. Спикировав с высоты птичьего полета, он шлёпнулся аккурат в цветник гражданки Смирновой. Она находилась на грани четвёртого по счету развода, грустила, размышляла, лечила тройчаткой расстроенные нервы и сон. Нет, ей не до цветников! У неё и вправду — возраст. Две дочери, так и не вышедшие замуж. Уж она-то старалась. Да что проку, когда на тебя таращатся две «куклы» с ограниченными способностями, но далеко идущими намерениями. Загонят в гроб и ой не скажут! Доченьки... кровинушки... дуры ненаглядные.

Раньше, в часы досуга, гражданка Смирнова выходила на свежий воздух, чтобы разбить парочку клумб,

засадить их маргаритками и вьюнками, погонять соседских кобелей, решивших отметиться на её облагороженной территории. Заодно и самих соседей разогнать, чтоб не тырили посадки.

С началом лета выносила она из подвала баночку масляной краски — пупырчато-зелёной или шершаво-голубой — и медленно, протяжными движениями наносила её на низенький деревянный заборчик, любовно выструганный её первым мужем. Краска наносилась двумя-тремя густыми слоями, и довольная, она любовалась работой уже из окна своей квартиры на первом этаже. Солнце поблескивало на штакетнике. И запах свежевскопанной земли перемешивался с дурманящими парами свежевыкрашенной жизни. Лето!

Ритуал сохранялся на протяжении десятков лет, покуда соседский «Town Ace» не сел на заборчик раздолбанным задом. Двор наполнился скорбью. Скорбели друзья, соседи, близкие, две дебелые дочери. На общем фоне солировала сама гражданка Смирнова. Пришлось третьему мужу соорудить прочную конструкцию из водопроводных труб, спёртых у ничего не подозревавшего Жэки прямо под носом. Во дворе снова воцарились мир и покой.

Но Тапок не знал, что мир столь густо населён печальными историями. Куда более печальными, нежели его собственная. Потому был подавлен. Растерян. И даже обижен до глубины души. Лёжа на прохладной, усыпанной утренней росой траве, Тапок терзался вопросом: «Как же так?» Развить мысль не получалось по причине скудного словарного запаса, но

он-то понимал, что его по-настоящему гложет. Его предали. Выкинули самым постыдным образом. Всю жизнь Тапок знал своё место и не сходил с него ни на йоту, не позволяя себе не то что лишнего, но даже допустимого в его положении... Сам виноват... Что лишился пары. Не доглядел, расслабился и пискнуть не успел, когда Младший запустил напарником в проходящую внизу прелестницу.

Младший тоже влюбился. Был страшно зол. На себя самого, на прелестницу, о которой тайно вздыхали мальчишки не только параллельных, но и старших классов, на весь мир, будто созданный для того, чтоб его раздражать. Казалось, на каждом углу произносят ее жужжащее имя — Зи-на! — кому не лень, прикасаются губами к этому взмывающему каждый раз ввысь «з-з-з»! Любой мог её окликнуть и даже взять за руку. Странно, что её бронзовые косы до сих пор не повыдергали. Младший злился. Понимал, что на самом деле Зина ничего из себя не представляет: конопатая, белокожая, моментально обгорает на солнце. Плечики маленькие, хрупкие, цыплячьи ключицы. На такую только любоваться. В руки взять страшно. Того и гляди раздавишь. За что ей пятёрки по биологии ставят? Младший вон даже хомяка завёл, чтобы с него наблюдения списывать, а эта что? Зубрила! Сплошная теория, а на практике сердца от печени не отличит... Ай, и пропади ты вовсе! Схватил Тапка первого и запустил вслед пролетающему по улице «з-з-з!».

Младший расстроился ещё пуще и захлопнул окно. БЗДЫНЬ! — вздрогнули стекла.

Таким образом Тапок приобрёл единственное число. Единственное не в смысле — самое-самое, эксклюзивно-надувное, пенно-пузырящееся. Единственное — в смысле совсем одинокое. Утратил своё место на обувной полке, перестал «быть в ходу», только «попадался под руку». Соседи отворачивали от него свои лакированные носы, ибо считали, что знают и видели более, нежели этот комнатный уродец. Вместе с множественностью из жизни Тапка ушло что-то важное, непередаваемое словами. Он скучал. Скучал не от безделья (дел-то ему находилось предостаточно), а от неразделённости. Чувствовал себя переполненным и бессмысленным. Но не говорил об этом никому на свете, ни одной живой душе. Разве тапки могут сказать нечто путнее?

День нарастал, прибавляя жару. Тапок просох от свалившихся на его голову разочарований и печалей. «Эх, перевернул бы кто...» Но гражданка Смирнова пребывала в унынии, а кроме неё в цветник загляды-вали только собачки да младшие, отыскивающие в зарослях мяч. И снова сплетались в клубок, отчаянно мутузя друг друга.

Тапок с интересом наблюдал за высверками настоящих футбольных бутс, проблесками более скромных, но не менее выдающихся беговых кроссовок, мельтешением растрёпанных китайских кедов. А ещё — ботинки, сандалии, вьетнамки — взмывали над головами, стоило младшему растянуться под ликование противника.

Какая пластика! А изгибы! Фактура, соединения, швы! Как чудно задумано и воплощено! Есть! Есть и у вещей свой Создатель! Кому ещё достанет выдумки и сил печься о таком разнообразии! Если бы тапки могли летать... Впрочем, о том, что тапки умеют летать, уже было рассказано ранее. Хотелось не просто полёта, но осмысленности движения. Тапок замер, впитывая практический опыт — да, да, вот так! Если плотнее обнять ногу и не соскальзывать, Хозяину не придется шаркать. Но и давить, давить тоже не надо. Иначе пойдут мозоли, и отношения быстро испортятся. Так-так-так, шнурки, липучки, заклёпки, молнии — сколько всего! Тапок оглядел себя внутренним взором... Крыть нечем — полный рубль двадцать восемь. Ни в футбол, ни на парад.

Незаметно пролетела неделя, другая, а там и весь июль. А Тапок так и лежал в присвоенном ненароком цветнике. Выспался, смирился с потерями и полюбил разочарования. Поблек и разбух под ночными ливнями. Надписи, некогда начертанные Младшим на крепенькой стельке, размылись. Хорошо, не угодил в зиму, а то б и вовсе тоска. Гражданка Смирнова попрежнему находилась в подвешенном состоянии — вроде бы и не хотелось ей уже разводиться. Ванька (муж) уйдёт с газеткой в соседнюю комнату или во двор с мужиками в домино пошуметь, и нормально. Чего затевалась-то? На старости лет. Ну не крутой. Не был и не будет. Куда его перевоспитывать? Дочерей бы сплавить, глядишь, и наладилось бы. Забрать заявление, что ль...

Ветер просыпал над Тапком семена полыни, и они взошли. Горьковатый запах щекотал ноздри, и Тапок понимал — это запах судьбы. Но стоило качнуться на соседних клумбах волнам клевера и ирисов, как до Тапка доносились сладкие нотки надежды. На что? Кто его знает. Надежды и все тут. Тапок запрокидывал голову и обрадовано кричал: «Судьба!» Он был счастлив.

Пролетали осы, громоздились на стоптанный задник шмели, комары спасались внутри от яростных налетов ласточек. Одинокая городская мышь прорыла под ним ямку и стаскивала туда пожитки. Тапок раздувался от важности — ему доверяют самое-самое.

Цветник гражданки Смирновой стал вторым домом для Тапка, где он надеялся мирно закончить свои дни. Покуда сама гражданка Смирнова не вышла наконец из квартиры и не вышвырнула его прочь.

Напуганный Тапок вытаращил глаза и уж совсем было запаниковал. Его подхватил юный ротвейлер.

— Эй! — закричал Тапок. — Эй! Брось меня, брось! Плюнь каку, я заразный! Слышишь! Фу! Шарик! Тузик! Леонард! Как тебя там! Ну балбес! Фу-у-у!

Но пёс носился с Тапком по двору, рыча и подкидывая его в воздухе. Набегавшись, завалился в траву, зажал передними лапами и принялся грызть. «Ну, это уже совсем никуда не годится!» — возмутился Тапок.

— А ну брось! — подоспела молодая женщина. — Брось, тебе говорят!

Она отважно выдернула Тапок из лап.

— Вот тебе! — легонько стукнула пса по носу.



Успокоившись, Тапок остро ощутил, что снова его жизнь непонятным образом расслаивается на «жил-был» и весьма ещё призрачное «живёт-поживает». Его снова несли домой.

Разувшись у порога, женщина осторожно положила Тапок на коврик, оглядела полученные раны и легонько погладила по голове.

— Бедный!

Тапок подался было вслед за рукой, но куда могут податься тапки? Оглядевшись, обнаружил ещё несколько пар обуви самых разных размеров и даже привалившиеся к стенке японские сапоги на низеньком, но всё-таки каблучке.

— Ух ты! — то ли удивился, то ли обрадовался Тапок. — Сколько всего!

— А то! — обрадовалась женщина. — Ну, значит, живой. Молодец!

— Живой, спасибо, — поблагодарил Тапок и осекся. — Вы со мной разговариваете?

— Конечно, с тобой, — улыбнулась женщина. Села на пол, заглянула в затуманившиеся глаза. — Здесь и нет никого, кроме нас.

Тапок покраснел. Ещё чуть-чуть — и он бы заплакал.

— Ну что ты? Всё хорошо! — Её улыбка — девчоночьего размера, а нога... «она бы поместилась... но... нет! Нет-нет-нет! Не смей!даже!думать!об!этом!» — проносилось в голове Тапка. Слишком поздно: рубль упал, инфляция выросла, товарный вид утрачен раз и навсегда. «Не смей! — одёргивал себя Тапок, инстинктивно подбирая провисшие бока. — Не смей...»

— Вы всё слышите? — поднял на женщину печальные глаза. — Даже то, о чём я думаю? — робко поинтересовался Тапок.

— Во всяком случае — стараюсь. Ну чего ты раскис? Давай выкладывай, как оно было.

Тапок снова покраснел. Посомневался, потоптался на месте и вдруг выложил ей всё. Про Хозяина и Младшего, и про борщ с котлетами, и про напарника, внезапно улетевшего и потерянного навсегда, про дядю Гришу, разбившего из-за него колено, про изгнание из дома и гражданку Смирнову, заслуженно выкинувшую его во второй раз. Короче, про всё. «И откуда у неё столько терпения, чтобы слушать всякие глупости?» — подумал Тапок. Словно с цепи сорвался. Или кто-то отпустил его с той самой цепи неприятностей и передряг (вот идиот!). Бока подрагивали, дерматин потрескался (да кому ты такой нужен!). Он закончил. Ему было стыдно. И легко — его выслушали.

— Всё ясно, — вздохнула женщина. — Попробуем тебя реанимировать.

— Реа... что? Простите, я слишком глуп, чтобы понимать такие сложные слова.

— Починим, заштопаем, подклеим, мелкий ремонт, понимаешь? — развеселилась женщина. — Будешь как новенький.

— Но зачем? — удивился Тапок. — Новеньких полно в магазине. И они наверняка недорого стоят.

— У меня уже есть один. Я давно его нашла и реа... починила. Только одного его не обуешь. Ему грустно. И мне невесело.



Женщина поднялась и принесла из комнаты свой Тапок. Подшитый с боков, но всё же поновее, чем наш. И на полразмера больше. Но чем-то они были похожи.

— Только не обижайтесь, но я буду носить вас дома. В конце концов — вы же тапки. Хоть и разные. Но мои.

Тапок потерял дар речи. Он вдруг вспомнил, что хоть он и вещь, но всё ж таки существо мужского рода, единственного числа и очень даже второго склонения! Если тебя можно просклонять, значит, ты живой. Не в смысле живой, как все остальные, а живой — в переносном значении. Тебя можно потрогать, заштопать, погладить, надеть на ногу и почувствовать, какой ты горячий. И почему тебя бьет озноб, догадаться по самым незначительным признакам живого существа. Если камни умеют ходить, почему Тапку не быть самым живым на свете? Он — один. Единственный. И даже во множественном числе — теперь он это точно знал.

— Можно последний вопрос? — не мог угомониться Тапок. Он понимал, что нельзя быть таким надоедливым, таким трусом и нужно (в конце концов!) доверять людям... Но всё-таки... всё-таки... — Скажите честно, зачем я вам?

Женщина опять рассмеялась.

— Знаешь что? Ты смешной!

— Не вижу ничего смешного... — насупился Тапок.

— Ты смешной и ты мне нужен. Такой ответ тебя устроит?

— Кажется... да...

Тапок прислушался и вдруг издал самый настоящий звук: «Фу-у-х!» — так шарики воздушные сдуваются, если не успеть перехватить их ниткой.

С тех пор Тапок живёт-поживает и считает себя (небезосновательно) счастливым! Самым счастливым Тапком на свете. Он видел в окно, как дядя Гриша вёл под руку свою жену Катю, как Хозяин, покрякивая, жал ему в знак примирения руку. Их поздравляли все. Весь двор наполнился радостными криками, и даже гражданка Смирнова, очистившая к тому времени клумбы от сорняков, вынесла им навстречу настоящий свадебный каравай. А Младший всё-таки поймал это лёгкое жужжащее «з-з-з!» — Зину — и теперь крепко держал её за руку, зарываясь холодным носом в её огненные волосы. В небо выпустили сотни воздушных шаров, и дядя Гриша взял Катю на руки и понёс — на самый высокий пятый этаж. Такой он, дядя Гриша, сильный, оказывается.

Тапок починили и изредка надевают вместе с его новым собратом. По какой-то случайности тот оказался правым, а Тапок — левым. И невзирая на разницу в возрасте и внутреннем состоянии, они подружились и теперь болтают без умолку, покуда Хозяйки нет дома. Такое только в сказке бывает, правда?





Содержание

Пешком по воде

О пользе просторечия....4
Люблю (фламенко по-русски)....10
Восьмое марта....14
Лилипуты....18
Прыгаю!....21
Обещаю....37
О пользе мобильников....42
Тапир....46
Как герань пропадала... 58
Родительский день....63
Сладенькая....68
Пешком по воде....71
Дерево....90

Кольцевой маршрут

Анархистка....94
*** 98
Прекрасные нечестивцы....105
Кольцевой маршрут....126
Пливет!!!....133
Записки Паука....137
Шумашедший....161
Единственное число....168

Анна Алексеевна Сафонова

Прекрасные нечестивцы

Рассказы

Составитель Н. Тарасов
Редактор И. Левитес
Корректор И. Остапенко
Дизайнер Е. Фадеева

Сдано в набор 23.01.2013
Подписано в печать 14.02.2013
Формат 70x108/32. Гарнитура «LiteraturnayaC»
Бумага офсетная. Печать цифровая
Усл. печ. л. 8,05. Тираж 400 экз.
Заказ № 527

Отпечатано в ГУП «Сахалинская областная типография»
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34